



Аркадий МАЛАШЕНКО

## Письмо генералиссимусу из Цыганской

### Мотни

#### ПОВЕСТЬ

Дорогой отец товарищ Иосиф Виссарионович, гвардии генералиссимус товарищ Сталин!"

Трифон медленно, с явным неудовольствием прочел написанное и задумался. Его огорчали сразу два момента: во-первых, он чувствовал, что в одном обращении к адресату два раза повторять слово "товарищ" многовато, а во-вторых, — он не знал, как пишется слово "генералиссимус". По своему горькому опыту и с высоты пятиклассного образования он в этом ощущал подвох: где-то обязательно должно было быть два "с". В таком заковыристом слове — да чтобы без двух "с"?! Вот только куда они, гады, эти два "с" всобачили? В середину или в конец?

Вообще с этими двойными буквами одна морока. Их специально придумали, чтобы люди голову ломали, отвлекались от темы. Надо бы об этом намекнуть в письме товарищу Сталину. Только в следующем. В этом — дело поважней. И вообще, предложить по две буквы в словах не писать — и все проблемы. Или, если им так хочется, то оговорить, что две буквы пишутся только в конце слова. Хреново, например, или аккумулятор. Все б отличниками по письму стали. Написал себе — генералиссимусс — и привет!

Газет в селе не было, а те, что приходили в сельсовет и в контору колхоза "К зорям коммунизма", мгновенно шли на раскурку. Поэтому Трифон, решив, что кашу маслом не испортишь, решительно дописал по "с" в середину и в конец слова. Получилось грязновато, но внушительно. Два раза слово "товарищ" Трифон тоже решил оставить. Но полной удовлетворенности все равно не было. Что-то мешало писать дальше. Ну, вроде как в зубе пакость какая-то сидит — и не больно, и говорить и жевать не мешает, а пока не выковыряешь — нет тебе покоя.

Он еще раз прочел: "Дорогой отец товарищ Иосиф Виссарионович, гвардии генералиссимусе товарищ Сталин!" Ага, мешает слово "гвардии". Если припомнить — не встречал, чтобы так говорили. Гвардии ефрейтор — это пожалуйста, гвардии майор — тоже попадалось. Гвардии генерал — читал своими глазами в газете, а вот гвардии генералиссимусе — вроде бы и не было.

За окном раздались истошные вопли Антошки Трифон с облегчением встал из-за кухонного стола, сбитого из топляков и покрытого сверху крышкой от гигантского сундука. Стукнуло недавно Трифону восемнадцать — и все эти восемнадцать своих лет он имел эту крышку перед глазами, и лет пятнадцать его тянуло расспросить кого-нибудь, куда подевался сам сундук, но каждый раз находились дела поважней.

Крышка у сундука, как ей и положено, была слегка покатою, и это не всегда удобно было при трапезе, но Трифон привык. Более того, за нормальным столом он чувствовал себя во время еды как-то неустроенно, ему казалось, что миска со щами стоит неправильно, и его тянуло подложить под нее или спичечный коробок, или, на худой конец, палец.

Антошка перешел от абстрактного визга к конкретной тематике:

— Папочка,— верещал он, — я съел самую крошечку, честное Ленинское, честное Сталинское, я больше не буду-у-у!

В коротких, не единожды заплатаанных штанишках с ляжкой от противогаса через голое плечо, он был чуть выше отцовского сапога, этот Антошка, и вся его крохотная фигурка с белой-белой головой, босыми ногами в цыпках, с коричневыми глазищами в пол-лица выражала такое реальное, физически осязаемое горе и такой отчаянный покорный страх, что Трифон не выдержал и начал без дела хлопать дверью — в надежде отвлечь Антошкиного отца, Героя Советского Союза гвардии ефрейтора Фиткулева. от свершения казни. Но голая мускулистая спина гвардии ефрейтора, искореженная двумя сизыми рубцами от осколков, была монументально спокойна, и только ладонь с зажатой в ней гибкой ивовой хворостиной слегка подрагивала.

— Папочка, папуля, папулечка! — надрывался Антошка, еще тогда смирившись с тем, что его худую, с выпирающими ребрами спину исполосует хворостина, ловко срезанная финским ножом отца и методически спокойно ободранная им от листьев, еще тогда, когда он, за всю свою жизнь ни разу досыта не евший, отламывал по кусочку от краюхи, оставленной матерью отцу на обед, и, захлебываясь слезами от страха перед неминуемой расплатой, глотал эти кусочки, не чувствуя их вкуса. '

Он, Антошка, кричал свое: "Папуленька, папуля..." — от великого неизбывного горя, твердо зная, что это его ребячье горе не тронет сердце человека, который был его отцом, не тронет, даже если он, Антон, надорвется в крике и вместо слова "папуленька" из его горла хлынет кровь.

Трифон в отчаянии громыхнул дверью так, что в сенях с полки сорвалось ведро и оголтело задребезжало, прыгая по дубовым доскам, но каменная спина не шевельнулась, только вздрогнул в, руке гвардии ефрейтора Фиткулева ивовый хлыст.

Вообще-то Трифон гордился, что на их хуторе, носящем имя Цыганская Мотня (говорят, что на хуторе этом жили когда-то цыгане и ловили штанами раков), жил такой знаменитый человек, как гвардии ефрейтор Фиткулев. Во всем районе, даже в райцентре Буденовске, не было ни одного Героя Советского Союза.

Фиткулева то и дело приглашали в районный клуб и сажали в президиум, и он сидел там в гимнастерке без погон, и Золотая Звезда сияла геройским светом на весь зал.

Говорили, правда, что свою Звезду он пропил или увели ее дружки по пьяному делу, а он склепал себе новую из старинного медного креста и надраивал ее каждый раз порошком от красного камня. Но суть была одна — гвардии ефрейтор являлся заметной фигурой в округе. Поэтому он с пренебрежением отвергал все почетные должности, предлагаемые ему в колхозе: конюха, бригадира полеводческой бригады, учетчика — как не соответствующие его заслугам перед СССР в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

— Не для того я под заграничным городом Яссы подбивал шесть немецких танков из боевого артиллерийского орудия, чтоб теперь командовать десятком баб, — с гонором говорил он председателю колхоза, бывшему партизану и бывшему директору школы Ивану Ивановичу Крутилову, у которого на пиджаке сиротливо поблескивала медалька "За победу над Германией".

— Так ты, тово, давай... — опасливо косился на фиткулевскую звезду председатель. — Давай аукнем собрание, да сбегает в район — пусть приезжают, выбирают тебя, по твоим заслугам. А я пойду к деткам — будем Пифагоровы штаны осваивать.

— Ну что ж, давай сбегает, — снисходительно соглашался Фиткулев, — надо на народ и родное правительство поработать.

Но то Крутилов пропадал сутками в поле, то фиткулевская Нюра добывала где-то самогону — так до зимы вопрос они и не решили.

А зимой приехал в село на милицейском "Виллисе" секретарь райкома и привоз им нового председателя колхоза — Петра Ивановича Лычко, снятого в райцентре с поста директора мясозавода за всякие лихие делишки. Герой Советского Союза гвардии ефрейтор Фиткулев и ахнуть не успел, как единогласно избранный новый председатель вышел на трибуну и уверенно, хорошо поставленным баритоном объявил:

— Товарищи, отвечая на заботу партии и правительства о колхозном крестьянстве под водительством непобедимого Сталина, нашего отца и учителя, я обещаю партии в лице

товарища секретаря райкома вывести колхоз "К зорям коммунизма" в передовые хозяйства района, области и ... — Он немного подумал и закончил: — и так далее.— И под жидкие аплодисменты по-хозяйски сел за стол президиума, потеснив могучими локтями гвардии ефрейтора Фиткулева.

Фиткулев подавленно промолчал все собрание, так как Лычко Петр Иванович был в селе хорош" известен как районный уполномоченный и регулярно появлялся к началу посевной и во время уборки урожая — уверенным баритоном учил колхозников уму-разуму. Да и вообще, в белых бурках, в полувоенном костюме, Лычко отлично гляделся во главе стола, будто за этим столом с графином и красной скатертью, заляпанной чернилами, он и родился.

Вот так, словно мыльный пузырь, лопнула радужная мечта Фиткулева, и он, попросив еловой напомнив собравшимся о шести танках, подбитых им под заграничным городом Яссы, напился вечером самогонки и до утра сидел на крыльце дома и громко пел песню, в которой были слова: "Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех".

В перерывах между загулами он занимался одним-единственным делом — до блеска драил офицерские хромовые сапоги, которые он выменял в тылу на трофейный аккордеон "Адлер". Ну а когда ему становилось совсем скучно, гвардии ефрейтор воспитывал сына и жену. Так как жена день и ночь пропадала на колхозной ферме, весь груз воспитательной работы несли на себе худенькие плечи Антошки.

2.

— Папочка-а! Папу-у-у-ленька! — Антошка уже не кричал, а причитал, как бабка Марыська над могилами своих шестерых внучек, почти что в одночасье сгинувших от дизентерии. Опухшие от голода девочки забрались в огород бывшего священника, а ныне бухгалтера колхоза Журавлева и ели там все, что росло на грядках и ветках: буряк, корень петрушки, морковь, капусту и совсем еще зеленую сливу. Их там и нашли вечером, вместе с годовалой Машенькой, названной так в честь бабки, нашли умирающих, корчащихся среди буряков, с алыми пузырями пены на губах, содрогающихся от поминутных спазмов и приступов рвоты.

Пока их несли в избу, пока разыскивали Пантелеймона — водителя единственной в селе полуторки, пока тракторист Митяйка, комсомольский вожак, привез на велосипеде фельдшерицу Светку из соседнего села, четверо старшеньких, начиная с десятилетней Капки, отмучились. Ползунковая Машенька умерла по дороге в райцентр Буденовск, и только двухлетняя Оленька еще два часа сражалась со смертью за свое вечно голодное существование в самой больнице под надзором когда-то контуженного и плохо слышащего старичка врача Льва Иосифовича и фельдшерицы Светки, сделавшей ей срочное промывание, во время которого Оленька и скончалась, разом решив главную проблему бабки Марыськи — чем кормить внучек.

В бумаге, выданной бабке Марыське в больнице, значилось, что ее внучки скончались от дизентерии, и хотя бабка твердо знала, что это брехня и что все ее подсолнушки. как она их звала, умерли, говоря по-народному, от заворота кишок, которые, истончившись от голода, просто не вынесли обилия съеденных девочками овощей, бумагу она оспаривать не стала и тем более не выкинула, так как она давала ей много преимуществ при похоронах — помощь сельсовета досками для гробиков, лошадью, и от правления — пуд картошки и два литра растительного масла — для поминок.

Во время похорон бабка Марыська была хоть и суетлива, но деловита, расчетливо щедра. Одарила товарок, помогавших обмывать внучек и готовить "стол", сунув им в ухватистые руки по паре кусков бурого сахара, успешно спрятанного от внучек "на черный день". На дочернюю шерстяную кофту и пуховый платок наменяла самогону, на ее же серебряные сережки выторговала пять кило ржаной муки и два десятка яиц на пироги — и все успела за день да короткую летнюю ночь. И похороны получились не хуже, чем у людей, и на поминках голодных не было.

И только когда ушел с подворья последний скорбящий, бабка, оставив товарок прибрать со стола — их законная привилегия, остатки тризны поделить между собой, — зашла, наконец, в пустой дом, вознесла молитву Семену Михайловичу Буденному — икон в доме не было, покойная дочь Нюта и муж ее Михаил были активными комсомольцами — и вот тогда только старая почувствовала, что силы покинули ее.

Она села в углу на лавку, которую сколотил еще ее прадед, и обвела глазами пустую — без ковров и половиков — избу с иконостасом фотографий всей ее родни в дешевых рамках над просторным — на большую семью — столом и тихонько заскулила, поняв враз и беспощадно, что наконец-то закончен и ее бабий век, в котором было все: и работа от зари до зари — испокон века на Руси крестьянин скотину-кормилицу щадил, от непосильной работы уберегал, а баба — что баба? — пусть пашет, что ей сдееется, и мужнины вожжи — для порядка, и щипки деверя пониже спины, и привычка есть последней, когда все насытятся, и слезы по ночам от тоски по неясной мечте, и вечная надежда на лучшие времена, которые все не наступали, Да, все было. И только когда война забрала трех ее сыновей, и когда запил ее тихий мужик и сгорел за два месяца в самогонке, и только когда убили по дороге в райцентр единственную ее дочку с мужем неизвестные лихие люди — за праздничные их костюмы, ехали в райцентр получать партийные билеты, — вот только тогда поняла старая Марыська, что вся ее униженная, воловья, без продыху, жизнь, без права не только на отдых, но даже на личное мнение, вот это распаскудное, крепостническое существование и было самой светлой страничкой в книге ее разнесчастной судьбы.

И открячавшись на могиле дочери, отвыв не для порядка, а из последних сил, поняла Марыська, что ничего впереди ей не светит, ни единая звездочка, ни единый лучик, а надо взять себя в руки и поставить внучек на ноги. Поставить, чего бы ей это ни стоило, не задерживаясь затем на этом свете и лишней минуты. И бабка Марыська, сроду чужой крошки не взявшая, стала к седым годам хитрой и смекалистой воровкой. Когда пала корова, единственная их кормилица, — Марыська стала похаживать в поле по ночам, и на столе у нее худо-бедно парила болтушка из разваренных зерен с бураком да крапивкой или чем еще, что произрастало на колхозной ниве. Вот так и жили целый год — впроголодь, ибо — грех сказать — что может унести баба с поля в своем подоле?! О.т села такую жизнь не спрячешь, да помалкивал народ, прекрасно понимая, что бабке иначе нельзя — кто ее внучек накормит? Только колхоз, которому Марыська с мужем да детьми отдавала все силы. А коль нет закона, чтоб колхоз за это кормил ее сирот, так кушать-то все равно надо.

Вот так и сидела бабка Марыська в пустой избе и скулила себе тихонько, хорошо понимая, что померла она вместе со своими внучками, и нет ей в этой жизни даже маленького местечка, где б могла она притулится на покой свои старые, никому не нужные кости. Может, и оставалась в ней толика силы, да ни к чему ей, старой, она оказалась, ради кого ее тратить — уж не ради себя, прости, господи! Уж чего-чего, а этого она в жизни себе не позволяла ни разу.

И пошла себе старая, поскуливая, на кладбище, полежала на каждой из шести могил, а потом перебралась к дочери — благо, рядышком, и трава не колючая. И легла бабка Марыська аккуратно, на правый бочок, и скулила тихо, никому не мешая, двое суток, и время от времени выдыхала горестно одно слово "Бо-о-оженка" — с такой тоской и раздирающей душу нежностью, будто боженка был ее единственным чадом, схороненным под невесомым старушечьим телом.

Приходил председатель сельсовета, однорукий нагловатый мужик, стоял, смотрел, чесал затылок, и так и слинял, не сказав ни слова, пришли товарки, подвыли в тон, но тоже не задержались, пожаловал и участковый Демьян, человек обстоятельный, спокойный, не пьющий, одним словом — партийный. Постояв, тоже почесал в затылке, разгладил гимнастерку ладонями и сказал нерешительно:

— Ты вот что. бабка, давай не нарушай. Шла б домой, дело б какое затеяла...

Марыська подняла на него слепые глаза, взвыла чуть громче, и Демьян, сконфузившись, ретировался, кляня, на чем свет стоит, свою никудышную должность — вроде и власть, а человеку помочь нечем.

А на следующее, третье утро нашли бабку бездыханной. Она лежала, вытянувшись во весь рост, на спине, и лицо ее было прекрасным и одухотворенным. Может быть, даже счастливым было лицо бабки Марыськи. Не иначе, как счастливым, ибо, наконец-то, на склоне лет, получила она долгожданный покой и разом покончила со всеми заботами. Разве это не счастье?!

Одно лишь странное дело заинтриговало ничему не удивляющихся сельчан. В руках у" бабки Марыськи был букетик сорной ромашки, вольготно растущей на кладбище Поломали вначале головы сельчане, гадая, кто вложил ей в руки букетик, а потом сошлись на версии, что цветы нарвала сама себе Марыська, так как не привыкла, старая, чтоб о ней кто-то заботился...

... Вот так же скулил Антошка, как бабка Марыська. — еле слышно, из последних сил. так как силы его вытекли вместе со слезами. Он стоял перед Фиткулевым, как огромная белая ромашка, раскачиваясь под холодным ветром яростных глаз гвардии ефрейтора на тоненьком стебельке своего тела.

Он уже хотел, Антошка, — пусть отец скорее исстегает его ивовым хлыстом, чтоб забраться потом на сеновал, забиться в щекотную и колкую солому, пахнущую пылью и кизяками, отплакаться там из последних сил и сидеть тихонько до темной ночи, пока мать не вернется с фермы и не позовет его тревожным голосом.

Он любил эту тревогу в голосе матери, вечно голодный и невымытый Антошка. Он любил эту тревогу в голосе матери неосознанно, может, даже не понимая, что именно она, эта тревога, говорила ему, маленькому оборвышу, что он еще кому-то нужен на этой враждебной и равнодушной к его жизни земле.

Он знал, что сейчас ему будет очень больно, он боялся этой боли, но глаза его просили: "Скорее скорей, нот больше сил терпеть эту пытку, что пострашнее ивового прута."

И когда гибкий хлыст ожег его худое тело пронзительной, нестерпимой болью, он закричал облегченно, извиваясь в пыли:

— Папуленька, я больше не буду-у-у... Папу-у-ля... — и не мог оторваться от отражения своего кричащего, истерзанного гримасами боли лица в зеркальном голенище гвардии ефрейтора фиткулева.

— А ну, оставь мальчишку, — раздался вдруг решительный голос над самым ухом фиткулева. Это было настолько неожиданно, что гвардии ефрейтор опустил хлыст, а Антошка перестал орать.

Рядом, с вилами в руках, стоял Трифон. Его кряжистая, мужицкая фигура бугрилась силой.

— Ты что, дурачок? Иди, поешь соломки, а то и тебе достанется.

— Оставь мальчишку, — так же громко и решительно скомандовал Трифон. — Оставь, а не то вилами проткну.

Немедленно, как в цирке, над плетнем возникли две-три нечесанные мальчишечьи головенки и седые космы семидесятилетнего общественного пастуха Ванютки, вот уже полгода безработного, так как личный скот колхозников забрали в счет госпоставок на убой.

Гвардии ефрейтор фиткулев. всей кожей фронтовика чувствуя опасность, не мог тем не менее вот так, просто и позорно, покинуть поле боя перед сельским дурачком Трифоном, но вилы были нацелены ему прямо в грудь, а глаза дурачка — налиты решимостью, и фиткулев струсил:

— Ну ладно, ладно, нашел кого пугать, я шесть танков под Яссами, этими вот руками...

Он бросил прут, вытянул руки, с удивлением, будто в первый раз рассматривая огромные свои ладони:

— Вот этими самыми...

Вилы не опускались. Шесть зубцов, шесть смертоносных пуль, были нацелены ему в грудь, в сердце.

— А ну, марш домой! — приказал Фиткулев сыну и осторожно отступил на шаг.

Антошка хотел бежать, но сил не осталось. Он, еле передвигая ноги, плелся к дверям, огромная белая ромашка, перебинтованная лямкой от противогаза, и в теплой пыли за ним тянулся рыхлистый след. словно от огромной гусеницы. А Фиткулев остановился у седых косм пастуха Ванютки и, обиженно выпятив нижнюю губу, объяснил:

— Он-то псих. Ткнет вилами — и ему ничего не будет, дураку. А я шесть танков под Яссами...

А на Трифона накатывало знакомое, яростное, белое. В затылок кто-то лез железными пальцами, чтобы рвануть надвое его голову — и все тогда исчезнет: Антошка, и след в

пыли, фиткулев и дед Ванют.ка, и небо, и зелень, и письмо к гвардии генералиссимусу товарищу Сталину.

Трифон бросил вилы и огромными скачками понесся к бочке у крыльца, и быстро сунул туда голову — успел почувствовать, как льется в него, в самую его раскаленную душу, тепловатая застоявшаяся вода с отчетливым запахом лягушки.

### 3.

"Дорогой отец, товарищ Иосиф Виссарионович, гвардии генералиссимусе товарищ Сталин..."

Конечно, тут не хватает слов "вождь" и "учитель", но Трифон после истории с Карлом Ивановичем, учителем немецкого языка, прозванным "Пятой колонной", побаивался этого, первого слова — вождь. Очень крепко пострадал за него Карл Иванович первого мая 1946 года.

Пристрастился учитель из обрусевших немцев к буденовской самогонке из медового бурачка. Что было — то было. Да тут и в понятие войти можно. Пострадал Карл Иванович в сорок первом, как война началась. Забрали его, считай, на третий день — и три года он из-за гитлеровской своей национальности щелкал на счетах в лесоповальной конторе на очень северной реке. Так же неожиданно он и вернулся в январе сорок пятого и, как ни в чем не бывало, продолжал в школе свое привычное: "Их бин, ду бист" Одно было новым — непомерно возлюбил, вернее даже — воспылал любовью Карл Иванович к Иосифу Виссарионовичу.

Все стены в доме оклеил портретами вождя, не пропускал ни одного митинга по любому поводу, добирался до трибуны или чего другого, что ее заменяло, и кричал громко и насадно:

— Да здравствует товарищ Сталин — творец и ваятель всех наших побед!

И даже этого мало было Карлу Ивановичу, прозванному "Пятой колонной". Если, не дай бог, кто-то из выступающих в запальчивости забывал закончить здравицей в честь Сталина, Карл Иванович

делал это за оратора, притом так старательно, что на лысине его вздувалась жила таких устрашающих размеров — жутко смотреть.

Народ в Щорсовке был тихий, работающий и беспрекословный. Здесь не кичились своей принадлежностью к великороссам, не обижали цыган, евреев и немцев, ибо и великороссы, и цыгане, и евреи, и немцы жили одинаково впроголодь, каждый творя свое дело, как умеет, в вечных заботах о куске хлеба для детей, жили упрямой надеждой, что не сегодня, так завтра настанет то самое лучезарное будущее, о котором так пламенно и красиво говорили солидные ораторы в шляпах из райцентра.

Колхозик "К зорям коммунизма" с самого своего рождения влачил жалкое существование, и трудно было поверить, что при таких темпах его развития колхозники увидят когда-нибудь, какие они есть на самом деле, эти зори коммунизма. Председателей колхоза сюда привозили из райкома каждый год, за них безропотно голосовали, и колхозная жизнь катилась дальше, от председателя к председателю, накручивая на счетчик семейных бюджетов Щорсовки хилые трудодни.

Единственной достопримечательностью села была роскошная, в два этажа школа. Какой-то взбесившийся от жира народник из князей отгрохал себе здесь в прошлые века царское поместье — в двухстах верстах от губернского города Тамбова, чтобы посвятить свою жизнь народу, пробуждению его самосознания и культуры.

С год терпел князек, как народ сморкался в кулак в ответ на его умные речи и долдонил невпопад на любой вопрос: "Чаво изволите, вашество?" Вот так и терпел, терпел, а потом не вытерпел, запил по-черному, бегал по селу голый с урядником и мужицким кнутом в руке, стегал всех встречных-поперечных и орал дурным голосом:

— Запорю, мерзавцы! Запорю!

На что урядник, раскачиваемый из стороны в сторону непотребно огромным пузом, поддакивал:

— Ить вить какво, сучье племя, вашество... ить вить кубыть, плетей... Плетей они, вашество, поймутъ... Это не грамота...

Сгинул народник где-то в дебрях московских. А вот дом остался. Жили в нем какие-то родственники князя, кормились при нем и сельчане, тяжело осваивая немужицкие профессии — горничных, камердинеров, кучеров. А в революцию вовсе все посбежали, и хозяева, и слуги.

Попытался там разместиться ревком, да застеснялся гулких залов и голых баб из мрамора. Через год дом удостоился чести стать резиденцией мужицкого вождя товарища Антонова, мужчины серьезного и непьющего, велевшего повыкидывать в сад голых баб и развесить на стенах лозунги: "За Советы без жидов и большевиков!" и "Вся власть народу!"

Ну, а когда прогнал Тухачевский Антонова, каленым железом выжигая на Тамбовщине мужицкую крамолу, вот тогда и открыли здесь школу. Менялись ученики, менялись учителя, и только одна фигура была в этом здании так же привычна, как шесть колонн у входа и одиннадцать мраморных ступенек, фигурой этой был Карл Иванович, учитель немецкого языка, а когда надо — и русского, а когда нужда заставит — и математики. Двадцать лет наблюдал Карл Иванович, как под сопливыми носами его питомцев начинали пробиваться усы, а босоногие худобистые девочки вдруг начинали "переть в тело", расти и писать записочки парням, чтобы затем рожать и растить им детей, таких же худобистых, прожорливых и вечно голодных, и к тридцати-сорока годам напоминать хорошо потрудившихся, годных только на живодерню лошадей.

Жил Карл Иванович с сестрой Розалией тут же, при школе, во флигельке, и так как, почитай, все село перебивало в его учениках, трудностей с самогоном не имел. Дружбу ни с кем не водил, только! сходил по банным дням с бывшим священнослужителем Журавлевым на почве бесед о текущем моменте, да на предмет постегать друг дружку березовым веником, чтоб затем запить это блаженство стаканом животворной самогонки. Пристрастившись по возвращении из высылки к местному зелью. Карл Иванович, между тем, головы не терял, не ругался матерно, не приставал к молодкам, а только сидел на крыльце своего дома, высматривая из-под руки прохожих, и каждому кричал:

— Гутен таг, геноссе!

И радовался, как ребенок, когда слышал в ответ на родном языке:

— Гутен таг!

И нечему тут удивляться, если еще раз вспомнить, что каждый второй в селе когда-то встречал в классе учителя этими словами.

Конечно, в его неприхотливом развлечении был и определенный риск, если учесть, что из каждых десяти мужиков с войны вернулись двое, и не раз Карл Иванович на свое душевное приветствие слышал в ответ густой окопный мат. Но люди это были в основном пришлые, увечные, и злоба их, увы, не насторожила добрейшего учителя.

Клички на селе прилипают быстро, вернувшийся в село Карл Иванович и ахнуть не успел, как стал Пятой колонной. Правда, за исключением некоторых, село не знало, что сие означало. Но Карл Иванович, которого выселили из Щорсовки, чтоб не ударил он в спину Родине в момент фашистского нашествия, переживал свое прозвище не понарошке — болезненно и нетерпимо.

Он даже дурачку Трифону пытался горячо доказать, что ненавидит Гитлера, и наоборот — Сталина считает отцом народов, что "Пятая колонна" была из фашистов в Испании, а он там никогда не был и даже вообще западнее Тамбова не забирался.

Трифон жалел своего бывшего учителя, но помочь не мог — на каждый роток не накинешь платок. Но несправедливость — она ведь и есть несправедливость, и Трифон совсем уже решился было написать товарищу Сталину, чтоб заступился он за Карла Ивановича.

Но произошло трагическое и непоправимое. Произошло в чудный первомайский день, когда вокруг зацвели сады, и пролетевший над селом самолет пронес над оторопевшими щорсовианами огромный портрет вождя и учителя товарища Сталина.

Трудно объяснить, что ударило в голову бедному учителю, но он вдруг в непонятном экстазе — а может быть, и в понятном, если учесть, что в честь праздника выпил он самогонки на полстакана побольше, — но факт остается фактом: Карл Иванович выскочил на улицу и заорал во всю глотку, молитвенно подняв голову к величественно проплывающему над селом портрету генералиссимуса:

— Эс лебе унзер фюрер Сталин!

Двое хорошо выпивших пришлых солдат, бредущих в обнимку с гвардии ефрейтором Фитку - левым по пыльной улице, будто споткнулись об этот крик.

Здоровенный парень, с двумя медалями на гимнастерке, бешено выкатив красные воспаленные глаза, заорал в лицо учителя:

— Это кого ты, фашистская морда, назвал фюрером?

Рука его потянулась к горлу Карла Ивановича, а тот, ничего не понимая, потеряв от выпитого чувство реальной опасности, с достоинством ткнул пальцем в небо и пояснил:

— Сталин— фюрер, фюрер...

Договорить ему не дали. Страшный удар пудовым кулаком в лицо свалил учителя с ног. Удары трофейных кованых немецких сапог посыпались со всех сторон. Били по голове, по груди, по животу. В образовавшейся в момент пустоте были слышны только тупые удары и звериный рык мордатого:

— фашистюга! Фашистюга! Вот тебе фюрер!

Сгинул куда-то, как сквозь землю провалился, Фиткулев, а солдаты все пинали ногами кровавое месиво, пока не раздался рядом выстрел из нагана участкового Демьяна.

Солдаты, озверев от крови, кинулись было на участкового, но второй выстрел их отрезвил, и они пустились бежать к речке, не оборачиваясь на выстрелы в воздух, и за ними никто не рискнул погнаться, хоть и мелькали в толпе защитные гимнастерки фронтовиков.

Демьян, тяжело дыша, перевернул Карла Ивановича лицом вверх и с удивлением увидел, что тот жив. Один глаз висел у него на щеке, зубы были повыбиты и валялись рядом, кровь текла из разбитой головы и рассеченных губ, но второй глаз смотрел на Демьяна удивленно и страдальчески, а разбитые губы пытались сложить из кровавых всхлипов извечный вопрос:

— За что?

А от школы уже бежала, безголосо крича, сестра учителя — Розалия, бежала и теряла туфли, нагибалась и поднимала их, стирая с них пыль, будто это было сейчас самое главное, и снова бежала, безголосая, страшная, не выпуская из рук портрет маршала Ворошилова.

Она подбежала к тому, что еще несколько минут назад было ее братом, все увидела, и подняла на Демьяна пустые мертвые глаза. Кроме брата, у нее на этой земле не было ни единого близкого человека.

Она подняла на Демьяна пустые мертвые глаза и ударила его вдруг портретом маршала Ворошилова. Демьян смахнул со щеки кровь и продолжал смотреть в ее пустые глаза. А в них зашевелился, задвигался и вырвался наконец наружу крик:

— За что, фашисты?

Демьян молчал. Молчала разбухшая зезаками толпа. Было оглушительно тихо. Только у ног Розалии копошился весь в крови Карл Иванович. Она отвернулась от брата и пошла обратно к школе. Пошла с натугой, волоча по пыли свою набухшую кровью и горем тень. Так в селе Щорсовка появился второй дурачок — Карлуша.

#### 4.

Да, за словами "дорогой Иосиф Виссарионович" неплохо было бы вставить "вождь и учитель", но к слову "вождь" после случая с Карлом Ивановичем у Трифона отношение было какое-то подозрительное. Просто не укладывалось в голове, что словом "вождь" — по-немецки "фюрер" — одинаково называли и великого родного Сталина, и, страшно подумать, злодея, бесноватого Гитлера. Тут было от чего голове пойти кругом.

Но так или иначе письмо Сталину надо было писать. Видно, далеко не все докладывали товарищу гвардии генералиссимусу о том, что творится в их селе Щорсовке. Далекое не все. Если бы узнал Иосиф Виссарионович о бабке Марыське и ее голодных внучках, о дурачке Карлуше — бывшей Пятой колонне, бывшем учителе немецкого языка, о бездельнике гвардии ефрейторе Герое Советского Союза Фиткулеве, заставляющем полуживую от усталости, от каторжной работы на ферме жену Нюру мыть ему в тазу ноги да еще в настое шалфея, — он бы очень рассердился. Вот так не напишешь — и не



узнает товарищ Сталин, что Фиткулев пропил единственную после жены кормилицу в доме козу Анюту, не давшую помереть Нюре и Антошке в победную раннюю весну 1945 года и которой Нюра приносила ежедневно несколько горстей корма с фермы, пряча его под одеждой. Если бы узнал об этом Иосиф Виссарионович, он бы не разрешил райкому приглашать Фиткулева в президиум всех собраний в Чапаевске и Щорсовке. Это уж точно. Пусть гвардии ефрейтор и герой, но истязать жену и ребенка, отбирать у них последнюю крошку хлеба некрасиво, и товарищ Сталин, когда узнает об этом из Трифонова письма, крепко отругает Фиткулева и прикажет ему работать хотя бы бригадиром и делить хлеб поровну в доме, и вернуть Антошке козу для пропитания и ботинки для зимы, которые Фиткулев в райцентре обменял на бутылку "Московской". Быстрый летний дождь отвлек Трифона от письма. Дождь сначала прошлепал по пыльной улице взад-вперед, сыпанул дробью по крышам, а потом зашелся всерьез, напустил луж и сгинул за холмом, будто его и не было. На крыльцо опасно вышел Антошка, оглянулся раз-другой на окна — и не заметив там грозного лица отца, скатился во двор. Тут он и задумался. Было два варианта: пустить вниз по улице щепку и бежать за ней до самой школы или на манер полуторки с шиком форсировать лужу — так, чтобы брызги — выше головы.

После некоторого раздумья Антошка выбрал второе и, сердито загудев, двинул через лужу. Мгновенно вымокнув до макушки, он "тормознул" в конце двора, завыл натужнее, видимо, буксуя, как полуторка, и пулей устремился к крыльцу, и дверь поглотила его мгновенно, будто и не было перед глазами секунду-другую назад Антошки, как, впрочем, и летнего дождя.

Светило солнце, сверкали лужи, в них уже купались невесть откуда взявшиеся воробьи. Писать письмо Сталину сегодня расхотелось, но в этом Трифон не хотел себе признаваться и стал уверять себя, что откладывает письмо, так как не решил еще, можно ли писать в нем слово "вождь", если оно на немецкий переводится как фюрер.

Он вышел на крыльцо. На дворе стоял июль, и зелень еще буйствовала повсюду, куда доставал его взгляд. И именно эта зелень, идущая из земли, из веток, из пыльной улицы, даже из-за досок забора, почему-то всегда вселяла в Трифона надежду, что все будет хорошо. Это было необъяснимо, и Трифон не пытался разобраться в подоплеке этой надежды, но зелень, обильная и непобедимая, становилась для него предтечей изобилия, если и не сегодняшнего, то завтрашнего.

Трифон потянулся всеми мышцами юного, но скроенного по-мужицки крепко тела, и двинулся на станцию, на свои проверенные годами заработки.

Цыганская Мотня — три двора — была в самом начале села, даже и не в селе, а вроде как в отрубе, хутором. От села ее отрезала хилая речка с мусорным камышом, широкий, с дырами, оставленными глинокопателями, овраг, да дощатый мост, построенный здесь еще при князе. В одном из дворов жил Трифон, в другом — Фиткулев, в третьем — Журавлев. Раньше, когда были живы родители Трифона, в Цыганской Мотне царил дух если и не коммунизма, то почти что семейной близости, Все праздники отмечали скопом, ели-пили за одним огромным столом, четко договариваясь только о самогонке, кто сколько выставит на стол.

А еда, не знамо когда и обозначился этот порядок, готовилась так: Журавлевы несли тысячу штук пельменей, два пирога — с грибами и смородиной, Трифоновы родители — ведро окрошки, тазик карасей, запеченных в сметане с чесночным рассолом, да головку коровьего масла.

За столом собиралось по двенадцать — пятнадцать ртов, и пировали здесь громко, весело, открыто, пока все со стола не подбиралось подчистую. Тогда пьяненькие мужики шли на мост курить праздничные папиросы "Прибой" и плевать в воду, жены и свекрови мыли тут же, чуть ниже по реке, посуду, а ребятня получала по взрослой горсти тыквенных семечек и в детской болтовне грызла их не спеша, оглядисто, дабы не прикончить запас раньше других и не клянчить потом у более осмотрительных. Но в 1939 году в дружном застолье появилась первая брешь. Кто бы мог подумать, что дряхлый отец Иероним да и его сын — молодой поп Павел — хитро замаскировавшиеся враги народа, готовили в Щорсовке эсеро-анархистский переворот на денюжки английских помещиков и капиталистов. Учинив в доме Журавлевых погром и перекопав пол-огорода

в поисках рации и английских денежных знаков, Журавлевых погрузили в открытую машину посреди белого дня и повезли в Буденовск, а оттуда — в область, где скоро должен был начаться процесс над эсеро-анархистскими главарями большого полета. Отец Иероним беззвучно плакал и осенял перстами невестку с заметно вздувшимся в последние месяцы животом, всех соседей, село и всю вселенную, а отец Павел сидел, окаменев, между конвойными, и только левая щека его дергалась в нервном тике. Через два месяца изумленные обитатели Цыганской Мотни узнали, что отец Иероним был матерый шпион, тесно связанный в годы гражданской войны с бандитом Антоновым, а его тихий сынок Павел по заданию английской разведки готовил теракт по отношению к районному руководству.

Правда, отец Трифона. Александр Александрович Чуб, парторг МТС, как-то задумчиво сказал своей жене — матери Трифона. Наде, что в этих краях отец Иероним появился лет через десять после того, как сгнили кости мужицкого вождя Антонова, но и сам испугался своих сомнений и строго-настрого приказал жене навеки забыть его слова, будто он их и не произносил. Тем более, что связи Антонова могли простираться и до почти что заграничного города Сороки, откуда занесло на Тамбовщину семью Журавлевых по прихоти церковных властей, а может быть, и из-за того, что негде стало отцу Иерониму справлять свою службу по вине невесты откуда взявшегося поголовного атеизма тамошнего населения, в связи с чем одна за другой закрывались церкви в округе. На следующий день Фиткулев старший, колхозный агроном, вместе со своим ленивым и хамовитым сыном Фролом отгородился забором от двора врагов народа Журавлевых, что, впрочем, не помешало ему самому через полгода "загреметь" на Колыму как злостному вредителю, умышленно погубившему урожай пшеницы, так как он. Фиткулев, действовал вразрез с указанием о севообороте товарища Лысенко. Не помогли и ссылки на засуху, и на орден Боевого Красного Знамени, которым его наградили за бой с мужицкими армиями Антонова.

Тогда уже и отец Трифона отгородил свой двор высоким деревянным забором, который, впрочем, спас Трифона от морозов в лютую зиму 48-го, и жили так Чубы до самой войны — в окружении близких родичей врагов народа.

5.

"Нет, письмо должно быть сжатым, коротким и конкретным. Сталину многие пишут, надо ценить его время", — так отец говорил матери, когда обдумывал в 1947 году свое собственное письмо Сталину. "Никаких эмоций, только факты, факты и выводы. Сталин — железной логики человек, ему достаточно двух-трех фактов, чтобы осмыслить их и прийти к выводу, что на местах чудовищно извращают кадровую политику. Начать надо так:

— Товарищ Сталин! Я — член ВКП/б/ Ленинского призыва, воевал в отрядах ЧОНа с остатками антоновских банд. Наград не имею, но от пуль бандитских не бегал. Не в качестве доноса, а как коммунист коммунисту хочу сообщить, что в Тамбовской области искажают Вашу линию, несмотря на то, что с Ежовым Вы покончили с ленинской решительностью, ежовщина в корне не уничтожена Я Вам назову..."

И следовал список из двенадцати фамилий с кратким описанием заслуг товарищей перед революцией, фамилий Трифон не запомнил, кроме одной — Кучера, председателя Буденовского райисполкома, бывшего секретаря райкома комсомола, чуть ли не первого на Тамбовщине, к тому же бывшего командира отряда ЧОНа, в котором отец был единственным пулеметчиком, орденосца, раненого на Кавказе и списанного вчистую в 1942 году.

— Скажите, товарищ Сталин, какое отношение может иметь большевик, беззаветный герой к японской разведке? Где Япония, а где — Буденовск, — спрашивал на второй странице отец. — Думаю, товарищ Сталин, эта информация поможет Вам ясней представить обстановку на Тамбовщине и положить конец контрреволюционному произволу врагов народа, пробравшихся в славные органы НКВД и ГПУ.

— За каждого из вышеназванных товарищей, — так кончалось письмо, — готов поручиться головой и партийным билетом. Парторг Буденовской МТС, член ВКП/б/ с 1924 года А. Чуб.

С днем рождения, Иосиф Виссарионович! Большевистское спасибо за все, что Вы сделали для нашей страны, всего советского народа!

Наверное, десять раз отец зачитывал это письмо вслух, переписывал набело, добавлял новые фамилии, убирал лишние слова. Наконец, 26 февраля 1947 года отец отправился в Буденовск, чтобы отослать письмо товарищу Сталину из райцентра.

По подсчетам отца, письмо должно было подоспеть ко дню рождения Иосифа Виссарионовича, а это, как ни верти, всенародный, праздник, и настроение у товарища Сталина должно быть соответствующим. Да и тешил себя Александр Александрович потаенной мыслишкой, что в потоке поздравительных писем не затеряются и две странички в линейку, что вырваны были из Трифоновой тетрадки, — из далекого села Щорсовки.

На конверте значилось строго и внушительно: "Москва. Кремль. Иосифу Виссарионовичу Сталину."

Вот так и получалось, что с малых лет Трифон вставал и ложился с именем Иосифа Виссарионовича. Он и не пытался задуматься о нем, как о живом человеке, у которого может, к примеру, болеть зуб, и который, как он, Трифон, сидит за столом, обедает, или отмахивается от комаров. Боже упаси! Сталин был больше всего, о чем Трифон знал. Больше бога, который, по рассказам бабки, все вокруг создал, больше целой армии. Для Трифона Сталин был даже не тот человек усами, что нарисован на множестве портретов, а все вокруг: Чапаев, мчащийся с шашкой наголо, самолет, летящий в небе, белый хлеб по воскресеньям, пионерский галстук, лучший друг Ленина, отец всех пионеров, песни, книги — все-все. Когда Трифон пытался понять, что такое СССР, он вспоминал слово "Сталин" — и все ему становилось понятно.

Особенно нравился Трифону рассказик в учебнике для чтения о девочке-отличнице, которая сделала в диктанте ошибку — в слове "столица" вместо "о" написала "а". Когда учительница спросила, почему она перепутала буквы, девочка<sup>1</sup> убежденно ответила: "Потому что "станция" происходит от слова Сталин. Потому что в столице Сталин живет!.."

Трифон любил перед сном предаваться мечтам о встрече со Сталиным. Особенно он любил представлять, как внезапно Сталин заходит в их дом и видит модели планеров, которые своими руками изготовил Трифон. Трифон покажет ему тетради с "пятерками", особенно за сочинение на тему "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство". Сталин похвалит его за планеры и "пятерки" и пригласит в Москву, на новогоднюю елку в Кремль — такую елку Трифон видел в кино. А может, если повезет, Трифон сводит его к фотографу Лазарю — и они сфотографируются все вместе — Трифон, Сталин, отец и мать. Все бы вокруг лопнули от зависти.

А еще Трифон мечтал, чтобы Сталин проходил мимо и случайно услышал, как он поет песню "Горный орел": "О Сталине, мудром, родном и любимом, счастливую песню слагает народ" или строевую: "Артиллеристы, Сталин дал приказ! Артиллеристы, зовут Отчизна нас!.." Трифон был в пионерской дружине запевалой, и учительница музыки Розалия Ивановна говорила, что у него чудесный голос. Сталин бы послушал, послушал и отправил бы его учиться, в Москву, на такого певца, которые поют по радио. И отца бы забрал в Москву. Что, у них там не найдется для него МТС?!

... За отцом приехали 12 марта, в воскресенье. Пугая кур, под их истошное кудахтанье, к дому подкатила черная "эмка", и из нее вышли двое в бостоновых плащах и одинаковых серых шляпах.

Отец сидел на крыльце, в промасленной фуфайке и в галошах на шерстяной носок и, насвистывая, точил ножи о красный стершийся кирпич. Розовая пыльца обсыпала галоши и носки, и отец тщательно отряхнул ее, когда услышал вопрос, он ли будет товарищем Чубом, парторгом МТС.

Товарищи из "эмки" были симпатичными, крепкими ребятами, и когда все прошли в комнату, один из них с интересом повертел в руках Трифонов планер, показал его товарищу, погладил Трифона по голове и веско сказал:

— Молодец, парень, руки у тебя растут, откуда надо.

Выяснилось, что машину за отцом прислали не из Буденовска. а из самой области, за сто двадцать верст.

— А что там спешное стряслось? Совещание срочное? Почему в воскресенье?

— Нам не докладывали. Сказано— привезти вас, вот мы и приехали.

— А может, насчет письма товарищу Сталину? — не унимался отец.

— Может, все может, — спокойно и доброжелательно ответил один из прибывших и поторопил: — Поскорее, пожалуйста. Возьмите только документы и двигаемся. Уже пятнадцать двадцать...

— До понедельника — обернись? — спросил отец, натягивая плащ, и в глазах его неожиданно для Трифона полыхнули страх и тревога.

— Обернетесь, обернетесь...

Отец не вернулся ни в понедельник, ни во вторник, ни по сей день. Первой беду почувствовала мать. Кто-то из соседей успел ей что-то сказать, и она ворвалась в дом, схватила Трифона в охапку и, измазав его лицо помадой и слезами, начала судорожно целовать, постанывая и бессмысленно поправляя ему воротник рубашки.

Предчувствие беды, которое вместе с пылью от "эмки" осело при виде доброжелательных парней в бостоновых плащах, вдруг схватило Трифона за горло, ослепило его на минуту-другую, и он исступленно закричал, вырвавшись из цепких объятий:

— Мама-а-а-а!

И этот крик был уже не предчувствием и не пониманием, а утверждением беды, это уже она кричала, беда проклятая.

В областном центре они ничего не добились. Перед глазами невыспавшегося Трифона мелькали знакомые и незнакомые вывески: горком партии, обком партии, областная прокуратура, управление НКВД — и везде им отвечали одно и то же:

— Зайдите завтра. У Ивана Петровича или Петра Ивановича планерка, летучка, совещание, товарищи из центра, понедельник — сами понимаете...

И они уставшие, голодные, поплелись через весь город на железнодорожный вокзал, неподалеку от которого жил давний дружок отца, соратник по ЧОНовским походам — дядя Аким, парторг железнодорожного узла.

Дядя Аким, распахнув дверь широко, но став так, что войти было никак невозможно, молча выслушал мать, помрачнел, как туча, вены на его шее набрякли, взгляд отяжелел и мертво впился в пол.

Он два-три раза сопанул и хрипло, не вырывая взгляда из пола, посоветовал:

— Ты б, Надь, шла себе домой. В двадцать тридцать Оршанский будет, так он — через Буденовск. Не опоздай, гляди. А Сашку я упреждал:"Допрыгаешься". Вот и допрыгался. Счас это быстро, чик — и враг народа. А ты иди, иди, Надя. Дети у меня, знаешь. Нельзя мне тут, с тобой. А в дом не пушу, — упредил он материну просьбу. — В дом — ни-ни. У самого дети — по сундукам спят. Так что иди. Надь.

— Да нам хоть в кухне, на полу. Триша не спал ночь, не ел ни крошки. Все ходим, ходим...

— в голосе матери не было ни возмущения, ни удивления, только усталость и тоска, и униженность нищенки...

Трифон потянул ее за рукав, и они, не дождавшись ответа, пошли по ступенькам назад, не слушая, как Аким кричал вслед:

Так ты, Надь, не забудь — поезд в двадцать тридцать. Если штос билетами, сошлись на меня.

Трифон спал у матери на коленях, а она сидела с отеками от неподвижности ногами, прислонясь к стене в довольно удобном месте — возле бачка в водой и кружкой, прикованной к нему пью, и бездумно смотрела перед собой в вокзальный мир, полный чьих-то рухнувших надежд, слез, прощаний и редких радостей встреч.

Она вот так сидела, ничего не чувствуя, не думая, не живя, и не ведала, что в эти минуты пившийся до полного зверства Аким молча избивал жену свою Тасю — веселую, хлебосольную певунью украинку, избивал ее за подлость свою и трусость, за предательство и главное — за готовность к нему.

Шел одиннадцатый день, когда мать наконец прорвалась к одному из заместителей начальника управления НКВД Огульцову, чекисту молодому, перспективному, сделавшему карьеру в конце тридцатых годов на Кавказе, где он активно разоблачал врагов народа — муссаватистов, обманом пробравшихся в партийное руководство Закавказских республик и замысливших передать кавказскую нефть англичанам. Впрочем, Лаврентий Павлович Берия, руководивший в Закавказье чисткой партийных рядов и хозяйственных кадров от глубоко законспирированных английских шпионов, обратил внимание на молодого следователя отнюдь не только за рвение в этом деле. Многие помощники Берии перещеголяли Огульцова в разоблачении врагов народа. В иных районах и даже колхозах месяцами пустовали кабинеты первых руководителей, и десятки руководителей поменьше рангом бесцельно толкались в знакомых приемных, не зная, от кого получить дальнейшие указания: сеять ли хлопок, убирать ли чай, проводить ли митинг по поводу очередного антисоветского выпада Черчилля или Геббельса. Именно в такое смутное время в кабинете Лаврентия Павловича и возник молодой следователь Огульцов, часа два промаявшись в приемной "самого", и молча протянул Берии стопку тощих книжиц в мягком переплете.

— Вот, товарищ Берия, что мой отец почитывает...

Берия, уже начавший полнеть, с интересом оглядел статную фигуру молодого следователя и небрежно, как карты, перебрал брошюрки.

— Зиновьев, Бухарин, Троцкий, Бухарин, Троцкий, снова Троцкий... Ну и что?

Издательства наши, советские, бумага тоже из нашей древесины.

Острый взгляд Берии, вплотную приближенный очками, показался Огульцову саблей, приставленной к его горлу. Он побледнел, почувствовал, как пот горячей струйкой пополз по позвоночнику.

— Но враги они, товарищ Берия. Их — к расстрелу...

— А ты, генацвале, читать умеешь? За что их покарал революционный меч? Где ты вычитал, что за книжки? Нигде в газетах не читал, что за книжки! За то, понимаешь, их народ покарал, что! продались они капиталистическим паразитам, что за Иудин сребреник хотели лишиться жизни! самого товарища Сталина...

Огульцов стоял ни жив ни мертв, чувствуя, как вытекает из него жизнь вместе со струйкой пота.

— Он говорит, говорит... отец говорит, что критика в адрес товарища Сталина, — Огульцов уже не произносил слова, а шептал их помертвелыми губами, — что критика товарища Сталина во многом верна...

— А что, товарищ Сталин наказывал кого-нибудь за критику? Товарищ Сталин никого за критику не наказывает. Как говорил на XVII съезде партии товарищ Сталин? Критика — молодая! кровь революции. Стыдно, генацвале, не знать этого. Критика — это не преступление. Пожалуйста, критикуй меня, если есть за что, скажи прямо, вот тут и тут ты, товарищ Берия, не прав. И я перед всем народом, перед всей партией скажу тебе: "Спасибо, товарищ! Клянусь тебе — исправлю свои ошибки..."

Ничего не хотел в этот момент Огульцов, ни чинов, ни денег, ни почестей. Одного он хотел чуда. Чтоб оказаться у себя в тесном, на троих кабинетике и допрашивать, допрашивать врага народа, сутки напролет допрашивать, без перерыва на обед, только бы не было этого поступка, этого кабинета и этого человека, говорящего таким убедительным, таким отеческим голосом:

— Огорчил ты меня, генацвале. Плохо понимаешь ты политику партии и задачи наших пролетарских карательных органов. Заруби себе на носу. Мы не наказываем за критику. Мы наказываем» измену Родине, за вред, наносимый государству рабочих и крестьян. А если товарищи такого не понимают — им не место в наших органах. Им место там, где их будут учить политической грамоте» компетентные люди.

Берия остановился перед Огульцовым, поправил очки и снова оглядел следователя с головы до ног и задержал свой взгляд на его глазах.

Перед Берией стоял труп. Манекен. Жизнь вытекла из него за каких-то семь-восемь минут, даже ресницы омертвели и не моргали, только билась жила на шее, воровато, ритмично билась, пытаясь спрятаться от внимательного взгляда Лаврентия Павловича под воротник.

— Вот пока сидел ты за дверью, я полистал твои делишки, генацвале. И очень долго думал, как тебе помочь. Опыта, может, тебе не хватает? Чутья оперативного? А может, другое что тебе мешает? Может, душа у тебя шерсткой покрылась? Волчьей шерсткой? И готов ты укусить руку, которая тебе, сыну бедного учителя, дала образование, власть, вложила в ладонь карающий меч революции?

— Я., я... жизнью я... — открывал и закрывал рот Огульцов, как-то словно со стороны удивляясь, что не разверзается под ним земля и не летит он в геенну огненную.

— А как иначе думать, генацвале? Твой друг по отделению Гобидзе в своем инспектируемом районе разоблачил сорок два врага народа, пробравшихся в наши ряды, чтобы изнутри подорвать дело Ленина — Сталина. А у тебя в районе только одиннадцать врагов выведено на чистую воду, а остальных ты отпускаешь, чтоб они снова продавали революцию оптом и в розницу, чтоб точили ножики да выжидали момент, когда их можно всадить в спину? Поднял тебя под себя уполномоченный НКВД в районе, который, маскируясь личиной старого большевика, уводит от казни своих дружков, сберегает враждебные силы, пользуясь твоей близорукостью, а может, и сочувствием или даже соучастием? Что молчишь, генацвале?

Огульцов открывал и закрывал рот, но уже молча, вроде бы и не приходя в сознание, но тем не менее чувствуя, как струйка слюны потекла из уголка губ, и он не в силах был поднять руку, чтоб смахнуть ее с лица.

— Вот-вот, иди, обо всем подумай, и я подумаю. Вместе думать — это хорошо, одна голова, генацвале, это одна голова, а две головы, генацвале, — это две головы... Кто так мудро сказал, не помнишь?

Он не помнил. Не помнил и как оказался в своем кабинете, как бездумно листал какие-то бумажки, дожидаясь, когда за ним придут. Он старался загнать в глубь себя жиденькую надежду, что если его не арестовали прямо в кабинете Берии, то, может быть, ему еще дали шанс, но он не знал, что делать, и только после того, как на третьи сутки ночью увезли отца, Огульцов прямо с утра помчался в район, арестовал уполномоченного НКВД, старого большевика и чекиста и, говорят, боевого товарища самого Орджоникидзе, и, не задавая тому вопросов, полчаса топтал ногами изрубленное дутовскими шашками тело чекиста и, словно пьяный, не вытерев окровавленных сапог, оформил протокол — по всем юридическим правилам — о гибели уполномоченного при попытке к бегству. За служебную халатность, выразившуюся в "допущении попытки к бегству подследственного т.Фуксмана И.С.", Огульцов был понижен в должности приказом по управлению, а через полтора месяца внезапно назначен уполномоченным НКВД в тот самый район, где он допустил служебную халатность, повышен в звании, минуя очередной чин, что в органах НКВД было делом чрезвычайно диким.

С тех пор его вела вверх по служебной лестнице чья-то невидимая, но могущественная рука, которая довела его до Лубянки, где воцарился Лаврентий Павлович, и бросила его после войны на укрепление руководящих кадров МГБ в глубину страны, где потребовались решительность, воля и принципиальность Огульцова в борьбе со скрытыми врагами Советской державы.

Вот к этому человеку и прорвалась жена Александра Александровича Чуба на одиннадцатый после того, как увезли из Цыганской Мотни ее мужа. Как в каком-то кошмарном сне прошли все и суматошные, горестные дни в беготне по кабинетам. До самого вечера, когда она тащила молчаливого, полуживого от усталости Трифона к вокзалу, к заветному месту у бачка с питьевой "ой, где ее старались не замечать пожилые работники транспортной милиции. Она уже и не мнила, когда кончились деньги, когда и кому продала она сначала серьги, а потом и золотое обручальное кольцо, когда они ели и пили, но, наверное, делали это, иначе бы и сил не хватило на эту изнуряющую, страшную в своей безысходности беготню.

Она уже поняла, счетовод из МТС, что рухнул в неведомую пропасть весь мир, в который привел, крестьянскую девушку, едва одолевшую после семилетки бухгалтерские курсы, муж, мысли которого она понимала и разделяла с полуслова, и вместе с ним страдала, если в этом мире началось что-то не вписывающееся в ту схему, которую нарисовал муж. Она уже понимала: что-то в их мире было не так, не додумано до конца, не понятно, потому и разлетелся он на мелкие осколки.

Она уже начинала понимать и то, что ничего не выбегает, не выпросит у всех этих дерматиновых дверей, что мир вокруг совсем не такой, каким рисовали его они с Александром, а это значит — ?чем жить.

Но она цеплялась за жизнь с невысказанной женской цепкостью и упорством, а жизнь ее заключалась в единственно мыслимом факте: чтоб вот этот красивый и молодой еще человек отдал ей а. Ради этого она была готова на все. Мыть ему ноги, лизать сапоги, лечь с ним в постель. Должен он понять, что Александр — это все. Это не только муж — это ее жизнь, ее вера, ее кислород. Она даже невольно потянулась к волосам, чтоб взбить их, но вовремя вспомнила, как ужасно глядит в измятом пальто, нечесаная и неумытая, провонявшаяся неистребимым трупным запахом вокзала, с опухшими глазами и губами — мельком видела себя в зеркале в каком-то из кабинетов и даже не узнала. А он, этот, человек, молча смотрел на нее и даже, может быть, понимал ее мысли, но ничего в нем не дрогнуло, не закричало от жалости, ибо он. Огульцов, раз и навсегда понял в том памятном кабинете, что его, Огульцова, жизнь можно только разменять на жизнь таких вот, как муж этой женщины, и иного пути нет.

Он подвинул ей стул, обошел ее сбоку, чтоб не коснуться одежды, еще не старой, но уже как бы отмеченной меткой нищенской жизни. Предупреждая ее вопросы и экономя рабочее время, Огульцов бесстрастно ровным голосом отчеканил:

— Решением чрезвычайной тройки ваш муж Александр Александрович Чуб, за участие в заговоре с целью террора против руководителей области и за ряд других преступлений, приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение сегодня, в 6 часов 20 минут. Она встала удивительно легко и вышла из кабинета. На крыльце, бледный и такой же помятый, измученный, сидел Трифон. Удивительно, но за все эти дни она не испытывала к нему никаких материнских чувств. Будто это был не сын, а какая-то вещь, необходимая, но обременительная. Горе выжгло в ней все чувства, волю, желание что-то делать и жить. Ее разум еще сопротивлялся, питаемый искоркой той самой надежды, которую в человеке ничем не погасить. И хотя женский, чисто звериный инстинкт говорил ей, что все кончено, эта искорка вела ее изо дня в день, из кабинета в кабинет. И привела к пропасти.

Она пошла прямо по улице, и Трифон привычно поплелся за ней. Ни он, ни мать не знали, сколько они шли, пока не вышли к каменному карьеру, на дне которого ворочали и дробили огромные камни какие-то машины и люди, кажущиеся с этой высоты муравьями. Надя пристально вглядывалась в пропасть и разглядела наконец выход из этого страшного, безысходного тупика. Она даже ругнула себя за недогадливость и бессмысленность хождений с протянутой рукой по безлюдным кабинетам. Она почему-то видела их безлюдными, хотя в каждом из них кто-то сидел и говорил ей какие-то слова. В каждом она протягивала руку, но никто не подал милостыню — ее мужа, ее прежнюю надежду, ее потерянную в этих хождениях веру. Не подали ей ее собственную жизнь. Она притянула к себе за рукав сына, и Трифон безвольно подался к ней, и она стала тщательно отряхивать его одежду от многодневного мусора, пыли, сердито и сосредоточенно хмури брови. А потом легонько толкнула его в пропасть, и он полетел, успев крикнуть: "Мама-а-а", и замолк. И она полетала за ним, и звериная любовь к сыну вдруг пробудилась в ней в этом полете, и она раскинула руки, чтоб обнять его и прижать к груди, но сына не было, а в ее объятия летела острая, чужая, проклятая земля. А Трифона через несколько минут подняли наверх рабочие — с разбитой головой и переломанным плечом. Очень уж легко толкнула его в пропасть мать. И эта ее мимолетная слабость обрекла его на жизнь. Обрекла на жизнь... Так в Щорсовке появился первый дурачок.

7.

Первое, что услышал Трифон в этой новой своей жизни, через два месяца беспомысленства, бреда, черных провалов и слепящего света — ликующий мальчишеский голос, который звеня от уверенности в счастье, добром будущем, бессмертии этого счастья и доброго будущего, возвещал:

Вперед мы идем  
И с пути не свернем.  
Потому что мы Сталина имя  
В своих сердцах несем.

Больной, измученный мозг Трифона сопротивлялся воспоминаниям, но Сталина он легко впустил в сознание — это была его жизнь, это было все вокруг — от рождения его первых мыслей на земле до этой палаты, где в углу, отгороженном от остального помещения марлей, смертным боем билось его маленькое "я" за крохотное свое место под солнцем. Потом он десятки, а может быть, и сотни раз летел в пропасть и кричал, разрывая легкие: "Мама-а-а!", и кто-то к нему наклонялся, и Трифон тянулся к этому кому-то, всей своей израненной кожей, жаждая знакомых прикосновений быстрых материнских пальцев, но его хватали другие руки — жесткие и решительные, и прижимали к подушке — И он ударялся о дно пропасти, а белое ослепительное солнце взрывалось в его голове.

Его возили из больницы в больницу, впрочем, особо не нянчась, ибо единственная его родственница — тетка, родная сестра матери, отказалась его забрать из-за многодетности и бедности семьи, где лишний рот мог разом перевести эту семью из разряда бедных в нищенствующую. В больницах тоже не знали, что с ним делать, так как специальных детских учреждений для таких больных в области не было, в роно пожимали плечами, а Москва советовала изыскивать местные возможности.

В детдом для нормальных Трифон не годился, так как подвержен был непредсказуемым припадкам, да и вообще с психикой у него было неладно: мог неделями молчать, упорно не отвечая даже на простейшие вопросы, а то вроде и без повода его прорывало — и он начинал говорить, говорить, жадно и несвязно, чтобы потом внезапно, на полуслове уснуть — в постели, за столом, или на сиротски серой больничной скамейке, — а проснувшись, молчать, молчать, покорно выполняя все предписания врачей и команды нянечек.

Приезжали какие-то люди, слушали, смотрели его, пытались расспрашивать, мрачно переглядывались и уезжали. Обычно после их отъезда что-то менялось в его жизни — его снова таскали по лабораториям, брали какие-то анализы, фотографировали в темных, холодных комнатах — и все оставалось по-прежнему.

Однажды приехала какая-то важная женщина, к которой все обращались с особой предупредительностью. Она совсем на была похожа на мать, но в то же время болезненно ее напоминала голосом, даже не самим голосом, а его особой тональностью, быстрыми и добрыми прикосновениями пальцев — и Трифон вдруг заговорил, заговорил, торопясь, спеша, давясь жалобными, отчаянными словами — и увидел в ее глазах слезы — она знала все о нем — и Трифон заговорил еще отчаяннее, быстрее, спеша, чтоб не ушла эта важная женщина, которая должна, обязательно должна знать и сказать ему, что с ним случилось, что ему делать, чтобы все вернулось, чтобы не было этого, вот ЭТОГО, что есть каждый день...

И видя, что она не понимает, он хотел зацепиться за то, крохотное, материнское в ее глазах, что таяло, таяло растворяясь в ее слезах, и он в страхе потерять это крохотное, закричал: "Мама-а-а" и бросился к ней на грудь.

И она приняла его, как сына, содрогаясь от неподдающегося разумной воле материнского в ней, и гладила его стриженный затылок с отчетливыми, кое-где гноящимися рубцами, давно не мытого и завшивленного, и был он ей, этот страшный, обреченный на горе мальчик, сейчас так дорог, будто выносила она его в своей утробе.

И он мгновенно уснул на ее груди и не проснулся, когда его укладывали в постель за марлевою занавеску, и от строгого, злого голоса женщины не проснулся, когда она отчитывала сопровождавших ее врачей; он впервые видел во сне свою мать, видел долго и отчетливо — в ее вечном цветастом ситцевом халатике, и мать ему говорила что-то очень важное, и он силился понять ее слова, но наплывало белое, ослепительное, разрывая затылок...

Он ее очень долго ждал, Трифон, эту женщину. Ждал неделю, вторую, третью. Она не появлялась. Зато как-то утром приехал участковый из Щорсовки, Демьян, и отвез Трифона в сельсовет вместе с кучей разных бумаг, в которых была описана биография его новой жизни.



Председатель сельсовета Иван Крутых с тихим отчаяньем повертел бумаги перед носом, сунул их в письменный стол и с такой силой заколотил ящик ударом единственной руки, что с деревьев у сельсовета сорвалась стая воробьев и испуганно рассыпалась.

— Что-то надо с парнем делать, — с болью в голосе сказал Крутых, вскинул на плечо мешок с буханкой черного хлеба и несколькими пригоршнями мелкой картошки и отвел Трифона в Цыганскую Мотню, открыл дом, смахнул со стола ладонью пыль и бодро сказал:

— Ну, давай, парень, начинай новую жизнь. А мы будем думать.

И Иван Крутых время от времени вспоминал Трифона, произносил сокрушенно и озабоченно ту же фразу: "Что-то надо с парнем делать", — и так шла неделя, другая, третья... А потом, видя, что Трифон живет, не помирает, что сельские мальчишки робко, но настойчиво пробуют на нем новое прозвище Тришка-дурачок, — успокоился немного, пообвык, потому что таких вот бедолаг, искалеченных войной, не так уж мало мучилось вокруг, на каждого сердца не хватит.

Правда, прислал Иван Крутых осенью в Цыганскую Мотню подводу дров и два мешка картофеля — для поддержания непрочной Трифионовой жизни. Потом, уже зимой, Иван Крутых, заметив дымок над домом Чуба, казнил, что не находит времени заняться парнем, может, выхлопотать для него кое-что из еды, но не очень старался, пытаясь в этих раздумьях о мальчишке не наткнуться на мысль, что боится проявлять излишнее рвение в помощи сыну врага народа.

А по весне, когда увидел, как уверенно шагает к станции в сопровождении сельских ребятишек, самозабвенно орущих "Триша-дурачок", — долговязый подросток с длинными, до колен руками, и на лице его блуждает счастливая, согретая весенним солнцем улыбка, то и вовсе успокоился председатель сельсовета, разумно решив, что раз парень в одиночку пережил такую зиму, то жить ему сто лет.

Да и особо помогать ему не было у руководителя Советской власти на селе ни средств, ни возможностей. Разве что печать с гербом. Но ею сыт не будешь.

И Иван Крутых отправился к председателю колхоза просить досок для ремонта крыльца сельсовета, разом и навсегда выкинул дурачка-Тришку из списка своих неотложных забот.

А Трифон жил и кормился при станции. Он не брезговал никакой работой. Таскал ящики и мешки к буфету, подметал помещение, мыл туалет, таскал бабкам корзины с фруктами или пирожками к поездам на продажу, красил станционные скамейки — и делал все молча, споро, с первого показа, будто всю жизнь занимался этими делами.

Сердобольные Журавлиха да бабка Фиткулиха не только выручили его картошкой, но и помогли вести огород, на котором постоянно паслись ребятишки, но картошку и бурак не трогали, и это давало Трифону возможность раз за разом переживать страшные зимние месяцы.

Иногда мальчишки отбирали у Трифона заработанное на станции — и тогда знакомое, белое, враждебное взрывалось в его голове — и миг пустела улица села: из добродушного, безобидного и беззащитного дурачка он превращался в зверя, необычайно сильного, беспощадного и бесстрашного. Он крушил все подряд, и горе было тому, кто не успевал убраться с его дороги.

Сначала бегали за милицией в лице Демьяна, отвозили даже в больницу, скрученного, а потом оставили эту затею, заметив, что Трифон буйствовал только на улице и в своем дворе, никогда не заходя на территорию соседей.

Поэтому при очередном припадке Трифона люди забегали в свои дворы и оттуда наблюдали, как беснуется на улице дурачок, как рвет на груди рубаху и давится сухой и мягкой, как пудра, пылью.

Единственным человеком, кто не боялся Трифона во время припадков, был фиткулевский Антошка. Он терпеливо дождался, когда сломает Трифон очередной плетень и упадет в пыль и станет загребать ее под себя руками, и, выбрав момент, ведомый ему одному, толкал Трифона ногой и грубо говорил:

— А ну, вставай, дурак!

И Трифон вставал, и Антошка брал его за руку, вел во двор и что-то говорил ему строго и внушительно.

И они не спеша шли по улице — покорный дурачок Трифон, вымахавший на тяжелой работе в коломенскую версту, и маленький, чуть выше колена ему Антошка, и люди отходили сердцами при виде этой сцены. Ведь в основном это были бабы, при мужском послевоенном малолюдье, да и вообще в натуре русского народа кровно укоренилось снисходительное отношение к убогим.

А потом они садились на крыльцо и читали старые трифоновские учебники, и молчаливый Трифон, на удивление людям, что-то очень горячо и долго объяснял в них белоголовому Антошке.

И не одно бабье сердце схватывало от жалости в эти минуты. И только не ясно было, от жалости к кому: то ли обиженному богом дурачку Тришке, то ли — к сироте при живых родителях Антошке.

## 8.

О многом хотел написать товарищу Сталину сельский дурачок Трифон. Он не собирался беспокоить генералиссимуса по поводу тяжелой жизни сельчан, мыкающих горе от урожая к урожаю, проедая трудодни, густо замешанные на соленом поте и горьких вдовьих слезах — Трифон просто не предполагал, что можно жить лучше, он, к примеру, и не сомневался, что четырнадцать кулацких семей, высланных из села на поселение в холодные края, ставили своей целью сорвать коллективизацию и лишить рабочий класс куска хлеба. Он ни в чем не сомневался, сельский дурачок Трифон.

Он хотел написать товарищу Сталину о том, что знал точно, в чем был уверен. А он точно знал, что его отец, Александр Александрович Чуб, парторг МТС, никого не собирался убивать, что учил он

Трифона жить по совести. Что портрет товарища Сталина вез он из райцентра, пряча от дождя на груди, сам выстрогал для него рамку, сам прибил ее к стене, и однажды вечером, уже после того, как отправил он свое письмо в Кремль, позвал сына к портрету, погладил по голове и сказал:

— Если что со мной, сынок, случится, — вот твой отец. Он тебя в беде не оставит.

Запомни это. Только с ним надо честно, без утайки, по-пионерски... Запомни...

И Трифон запомнил. И ничего не хотел просить у товарища Сталина для себя, кроме единственного — чтоб пустили его в школу, так как никакой он не дурачок, а товарищу Сталину просто неправильно об этом доложили.

Трифон точно не знал, кто докладывал о нем товарищу Сталину, но подозревал, что директор Ефим Соломонович. Потому что, когда Трифон пришел к нему проситься в школу, Ефим Соломонович гулко высморкался в огромный носовой платок и сказал:

— Тебе нельзя учиться. Ты э-э-э слегка больной. У тебя, мальчик, э-э-э голова не в порядке немножко. Пяти классов тебе достаточно, э-э.

— Я пожалуюсь Сталину, — мрачно сказал Трифон прямо в слезящиеся глаза Ефима Соломоновича.

Директор заохал, заахал, схватился за голову, выскочил из-за стола, взмахнул, словно гигантская птица крыльями, полами халата (он еще преподавал химию), подскочил к Трифону и, обняв его, стал легонько подталкивать к выходу:

— Иди, иди, мальчик. Это товарищ Сталин сказал, что тебе не надо учиться, так как ты больной. Товарищ Сталин в курсе...

Откровенно говоря, Трифон сильно сомневался в правдивости директора. Для того, чтобы сказать такое директору, Сталин должен был приехать в Щорсовку, а он в село не приезжал. И второе, если он письмо о Трифоне директору написал, то почему Ефим Соломонович письмо не показал. И в-третьих, директор мог просто неправильно доложить товарищу Сталину о Трифоне.

Пусть бы товарищ Сталин вызвал его в Кремль и проэкзаменовал за пятый класс — Трифон все учебники наизусть знал и все задачи по математике, как орехи, щелкал. А еще бы Трифон за Карла Ивановича попросил, за Карлушу. Про него, наверное, тоже неправильно доложили товарищу Сталину. Разве бы допустил товарищ Сталин, чтобы

дети, вчерашние ученики Карла Ивановича, бегали за учителем, кидали в него комья грязи и дразнили:

— Пан Карлуша дурачок, съел закаканный дичок.

На взгляд Трифона, это было жестоко и не к лицу октябрятам, а тем более — пионерам. Трифон очень хотел заступиться за Карла Ивановича, но боялся мальчишек, которые не раз отбирали у него заработанное на станции.

Трифон хотел просто подсказать товарищу Сталину, чтоб он приказал школьной буфетчице тете Дусе, чтоб она кормила Карла Ивановича манкой и чаем три раза в день. Ведь она и так его кормила, но только вечером, один раз, когда никто не видел. А на пенсию Карлуша мог бы покупать себе одежду и дрова.

Никто не хотел подсказать товарищу Сталину такой простой выход. А то ведь зимой Карлуша мог и замерзнуть, если бы не пускал его школьный сторож спать на полу у печки. Однажды сторож на праздники напился и не пришел в школу топить печи, и Карл Иванович чуть не замерз на крыльце. Хорошо, что его вовремя заметил Демьян и отвел в Бастилию — так почему-то в селе называли зарешеченную каморку, отапливавшуюся от квартиры участкового.

В этой каморке Карл Иванович даже прожил полмесяца, пока кто-то из бдительных щорсовцев не сообщил в район, что участковый Демьян использует служебное помещение с корыстными побуждениями и сдает двое прочно обжитых клопами нар подозрительным людям за плату.

Демьяна вызвали в район. Через сутки он вернулся оттуда цел и невредим, но без единого треугольника на петлицах, и с тех пор не подпускал к своей каморке Карлушу и на пушечный выстрел.

В глубине души Трифон признавал, что в вопросе с Карлом Ивановичем были определенные трудности. И слепой бы их увидел. В минуты душевного просветления Карлушу тянуло в школу. Он ходил под окнами классов, где когда-то звучало дружное: "Их бин, ду бист...", и плакал жалобно, ни на что не сетуя. Но ведь и у директора, и у немногих учителей сердца были тоже не из металла. Дети гурьбой срывались с мест и липли к окнам, и кривлялись и показывали языки, а Ефим Соломонович и учителя глядели на Карлушу, и очень смутные мысли, очень тяжелые и неудобные ворочались в их головах, и не раз, наверное, каждый из них, машинально отгоняя детей от окна, думал про себя:

— Кто знает, кто знает, не готовит ли тебе самому судьба такое вот существование, — и

мысленно сплевывал через левое плечо. И не только эта трудность была с Карлушей. Дело в том, что глубокая травма головы избавила Карлушу от многих привычек: читать по вечерам газету, ежедневно чистить зубы, носить шляпу и галстук, спать на простынях и разных других, но от привычки к самогону не отучила.

В селе это прекрасно знали, и дурную привычку Карлуши многодетные смекалистые вдовы эксплуатировали напрямую. За бутылку мутной, дурно пахнущей жидкости и миску болтушки Карлуша перепахивал огороды, перекалывал завалы дров, рыл колодцы и пас гусей. И вот, когда выпивал он свою заветную бутылку, в нем вулканически просыпалась любовь к Сталину. И старые, и малые щорсовцы просыпались в такие ночи от хорошо поставленного голоса Карлуши, который маршировал по одной из немногих улиц села и громогласно выкрикивал лозунги, которые ему крепко запали в голову. Их было великое множество. И Карл Иванович под лай собак гремел над убогими домами Щорсовки могучим громкоговорителем:

— Да здравствует товарищ Сталин, творец всех наших побед!

— Слава великому Сталину, великому продолжателю дела Ленина!

— Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!

— Да здравствует товарищ Сталин, лучший друг физкультурников!

И так без конца. Хуже было, когда запас лозунгов на русском языке иссякал. Тогда Карлуша переходил на немецкий. И на камышовые, съезжившиеся от страха крыши сельчан обрушивалось:

— Эс лебе гроссе Сталин! Эс лебе унзер фюрер Иосиф Виссарионович Сталин!

Это проклятое слово "фюрер" мстило Карлуше с упорным постоянством. Бдительные щорсовцы, особенно из тех, кто кормил демьяновых клопов в его каморке за

самогоноварение, тут же сигнализировали, куда надо, что участковый не принимает никаких мер к умело маскирующемуся под дурачка скрытому гитлеровцу Карлу Ивановичу Кацу, который, пользуясь покровительством участкового, в пьяном виде во всеуслышание называет лично товарища Сталина фюрером, то есть Гитлером.

Вначале после таких сигналов Демьяна забирали в район, а один раз — даже в область, вместе с Карлушей. Потом Карлушу забирали одного, но кончалось все одним и тем же — дурачка отпускали, порой основательно намяв ему бока, а потом и вовсе перестали забирать, так как Демьян всем и всюду сумел доказать, что фюрер — это не обязательно Гитлер, а даже наоборот — вождь на немецком языке.

Видно, и Сталину наконец правильно доложили, и он приказал оставить Карлушу в покое, правда, не зная, что пенсии по инвалидности, вручаемой под расписку председателю сельсовета, который на нее покупал продукты Карлуше, составляя об этом подробный акт, хватало на два средних обеда без десерта.

Вот именно об этом и собирался напомнить Трифон в своем хорошо продуманном, но никак не трогающемся с места письме товарищу Сталину.

Но была еще одна тайна, которую они оберегали с Антошкой пуще всех тайн на свете. Дело в том, что Фиткулев, отец Антошки, был и вовсе никакой не Герой Советского Союза. Вернее, Героем он был, но был не герой. Из всего этого было довольно трудно выбраться на стезю разумного изложения этого факта, который тоже очень даже реально тормозил отправку письма.

В общем, дело было так. Антошка своими ушами слышал, как отец его, гвардии ефрейтор Фиткулев, по обыкновению своему напившись посреди бела дня, стал привычно хвастать тем, какой он смелый и ловкий. Какой он смелый, Фиткулев рассказал редким бабам на станции, так как все взрослое население Щорсовки было в поле, а какой ловкий — рассказывал уже своей жене, вернее, ее напрягшейся в ожидании пинка или в лучшем случае ругани спине, так как Антошкина мать стирала фиткулевские подштанники.

Как ни вертелся бравадный ефрейтор Фиткулев в запасном полку, а на фронт ему пришлось отправиться, чтобы применить в бою полученные там знания.

На фронте было в то время тихо, и бравадный ефрейтор покорила своей выправкой сердце командира батареи капитана Бирюкова, который и послал его, как проделывал это со своими любимцами, в составе противотанкового артиллерийского расчета 76-миллиметрового орудия на плоту форсировать реку Прут в поддержку роты пехотинцев, дерзко и даже нагло захватившей плацдарм на берегу противника.

Задание было внезапным, и Фиткулев не успел отвертеться и даже придумать, как это сделать, не успел. С отчаянья он даже хотел рвануть вплавь обратно, но командир расчета хмурый узбек

старший сержант Касимов, с ходу раскусивший подлую и трусливую натуру бравого ефрейтора — заряжающего, но молчавший об этом из-за степной своей неразговорчивости и внутренней интеллигентности, сунул в руки Фиткулеву лопату, показал, где рыть позицию для орудия, и хмуро предупредил:

— Слушай, ефрейтор, отойдешь больше трех шагов от позиции, получишь пулю в спину, — и он выразительно похлопал по расстегнутой кобуре нагана.

А утром, когда на позиции роты пошли танки, Фиткулев совсем раскис. При первых же разрывах снарядов он упал на дно окопа и лежал там, несмотря на яростные пинки Касимова и густой мат двух пожилых подающих.

Через несколько минут, когда оба подающих были убиты осколками разорвавшегося рядом снаряда, а старший сержант ранен в грудь, узбек сполз в окоп и рывком поднял на ноги Фиткулева:

— Слушай, грязный верблюд, подавай хоть снаряды, подавай... — и, видя, что Фиткулев его просто не понимает, плюнул прямо в визжащие от страха глаза и яростно стукнул по голове рукояткой пистолета.

Седьмой танк подмял отважного узбека под себя вместе с орудием.

Но рота чудом удержалась. И удержала плацдарм. И все это благодаря героическим действиям артиллерийского расчета 76-миллиметровой пушки.

Единственного оставшегося в живых из расчета гвардии ефрейтора Фиткулева с окровавленной головой отправили в медсанбат. Там его посетили и комбат, и комдив, и

по секрету сообщили, что он представлен к званию Героя Советского Союза, как и героически погибший под гусеницами вражеского танка старший сержант Касимов. Ожидавший страшных кар Фиткулев, еще не переварив эту информацию, сделал вид, что теряет сознание — и командир батареи вместе с командиром дивизии сочли за лучшее уйти, чрезвычайно довольные, что в личном составе их подразделений появятся Герои Советского Союза. Да притом один — живой. Никто не сомневался, что за такой подвиг их представление утвердят.

Но напрасно радовались командиры. Фиткулев на батарею не вернулся, Звезду Героя ему вручали прямо в госпитале, где он третий месяц искусно симулировал тяжелейшую контузию, провалы в памяти, заикание и даже рвоту. Старший военврач второго ранга Таисия Петровна Орлова, хотя и сомневалась порой в иных "художествах" Героя, но подвиг его был настолько очевиден, что ей становилось стыдно собственных сомнений. И вырвался Фиткулев с фронта, что называется, подчистую, тяжкими трудами в госпитальных палатах выстрадав долгожданную строчку "Годен к нестроевой службе". И прочно осел в тылу до самого великого часа победы.

А тем временем в его рассказах о знаменитой битве под иностранным городом Яссы все меньше и меньше упоминался старший сержант Касимов, а вскоре и вовсе исчез, и тыловые бойцы женского пола, замирая от ужаса и восхищения, слушали, как гвардии ефрейтор Фиткулев лично уничтожил шесть фашистских танков.

И были они благосклонны к нему.

А вот его жена Нюра сразу не поверила, так как очень хорошо знала своего мужа. Она ему не сказала об этом ни полслова, даже не усмехнулась хоть краешком губ. Но он, Фиткулев, мгновенно почувствовал, что она ему не верит. Ошалевший в тыловых госпиталях от женского почитания и где-то даже поклонения, он сразу и совершенно справедливо почувствовал в опущенном к земляному полу взгляде жены презрение, и ударил пудовым кулаком в это ненавистное лицо, которое снилось ему каждодневно в юные годы и даже в запасном полку в степях Украины.

Его бесило и то, что в дальнейшем, когда, отупев от водки, он избивал покорное тело жены, он не слышал от нее просьб о пощаде, крика, ничего, кроме глухих нутряных стонов от прямых ударов, и зверел еще больше от того, что понимал, негодяй, что сам бы он так не смог и после первого же удара целовал бы ноги более сильного.

Свою ненависть он перенес и на Антошку, и казнил еле- методично и хладнокровно по любому поводу, не обманываясь жалобным Антошкиным: "Папочка, папуленька", отчетливо видя, что глаза сына — ее, Нюркины, а значит — и нутро ее.

Вот об этом Трифон тоже хотел сообщить товарищу Сталину, чтобы тот как следует наказал Фиткулева и навсегда отобрал у него Звезду Героя, которую гвардии ефрейтор драил самолично о полного сиятельного блеска. Если бы товарищ Сталин отобрал бы у Фиткулева Звезду - Фиткулев стал бы не герой, а не герой не имел бы права так издеваться над своей женой и сыном, Да вот одна беда — не знал Трифон, как к этому подступиться. Дурачок, дурачок — а понимал,

что такой свидетель, как Антошка, — это ноль без палочки, что же касается Нюрки, то та и глаза-то боится поднять на своего мужа.

И не знал дурачок Трифон, что жизнь готовит его в свидетели еще одного человеческого злодеяния, оценить которое окажется просто не под силу слабенькому его умишку.

9.

Вот и все дела, которые собирался поручить товарищу Сталину дурачок Тришка. Камень, о который ударился он головой, когда мать столкнула его в пропасть, остановил его умственное развитие на той точке, которой он достиг к тому времени. Но тело его, несмотря на скудное и нерегулярное питание, наливалось силой, круто, по-мужички развернулись плечи, сел чуть ли не до баса голос. И только глаза его оставались детскими, доверчивыми, как у кутенка, не испытавшего еще человеческого пинка. Эта доброта не исчезала, когда таскали его с милицией по больницами, когда мальчишки отбирали у него еду, ни даже когда отгоняли его мужики оглоблями от бань, где мылись

их жены и дочери. Сам не знал Трифон и не пытался понять, почему так тянуло его к крохотным оконцам этих бань. Там и разглядеть-то что-либо было делом не шутейным. В белых облаках пара могла вдруг мелькнуть тощая или мощная спина, обвислая или наоборот — торчком, как груша-дичок, грудь или округлое, как полная луна, бедро — и Трифон начинал маяться, сучить ногами, пританцовывать у окна, пока не обрушивалась на его могучую спину суковатая жердина.

Он уже привык, Трифон, что если бьют — надо бежать: никому ничего не докажешь, не объяснишь, и никто слушать не станет, да и говорить он, в принципе, отвык. И он убежал домой, кидаясь на кучу тряпья, что заменяла ему постель, и всю ночь ему снилось что-то непонятное, жаркое, пока мать-природа не облегчала ему эти муки.

Гоняли его бабы и от пруда, где на шатких деревянных мостках стирали они белье, высоко подоткнув подола своих серых, сиротских хламид, обнажая из-под лохмотьев самое великое из всех земных чудес — женское тело.

Напрягши свой куцый умишко. Трифон сделал выводы и стал избегать мужних жен, перенеся свой пост к банькам вдов. Возле них он и страдал, плясая в белое клубление пара до той поры, пока однажды не отворилась дверь и сильная женская рука не втащила его в баню,

Ослепнув от пара и жары, Трифон и не заметил, как вмиг его раздели ловкие быстрые руки, как мягко и настойчиво уложили его эти руки на полоч, и мочалка пошла гулять по его телу. Такого животного счастья он не испытывал никогда. Над ним в смутном облаке пара метались огромные груди, чуть ли не задевая лицо, а руки, вроде материнские, ласковые, но обжигающе, невыносимо приятнее, гладили его тело — живот, грудь, ноги, все-все. и он, почти теряя сознание, только мычал и вдруг ощутил на себе грудь, жаркое скользкое тело и схватился за него, за большие крепкие бедра и почувствовал, как входит в это тело, и закричал, умирая от радости.

Потом он испытывал это много раз, до самого утра, и уже спокойнее смотрел, как ловко двигается по крохотной — на двоих — баньке крепкое голое тело скотницы Степаниды, женщины крикливой и скандальной, а сейчас непонятно робкой, даже застенчивой и доброй.

Потом, шепнув ему: "Сиди тут", Степанида вышла, но вскоре вернулась, с булкой хлеба и тремя яйцами. Отщипнув себе кусочек-другой, она, уже одетая, по-бабьи пригорюнившись, жалостливо глядела, как споро и беззвучно, словно молодой голодный волк, расправляется Трифон с ее угощением.

Она сбегала еще раз домой, принесла мужнину рубаху и исподники, которые не продавала вот уже более десяти лет, неведомо на что надеясь, иной раз только доставая это белье из сундучка, чтоб под вдовью стопку зарыться в него лицом и смочить невинными слезами.

— Ты токо, Триша, никому ни гу-гу, — зардевшись, произнесла Степанида, наблюдая, как натягивает он на свое крепкое тело хрустящую свежестью рубашку мужа. — Понял, Триша, а то ведь камнями забьют братья евойные. — Она хотела было рассказать Трифону, как три года назад, на пасху, подпоили ее двое молодых мужних братьев, как по очереди терзали ее тело, не давая ей радости, а наоборот, принося омерзение и стыд, как, уходя, младший оскалился глумливо и хлопнул ее по голому животу:

— Не пропадать же такому добру...

Не рассказала Степанида и о том, как разыскала она братьев на следующий день в поле, как ухватила их могучими руками за космы и, приблизив в своему лицу, жестко отчеканила:

— Сунетесь в другой раз — отцу скажу, а не поможет — топором рубить буду...

И так это уверенно она сказала, что пробрало холодом шустрых братьев ее мужа до самых потрохов.

— Ты токо, Триша, ни гу-гу, — повторила она, открывая ему дверь. — А в воскресенье приходи... И Тришка жил от воскресенья к воскресенью, не отдавая себе отчета, как живет, и не было у него

в жизни ничего другого, кроме ненаписанного письма и очередного воскресенья.

Он никому ничего не говорил, и не только потому, что вообще не имел обыкновения с кем-либо разговаривать, но и потому, что почувствовал он в себе что-то новое, непонятное, даже пугающее, но без чего жить больше не сможет.

Это становилось для него таким же вечным, насущным, как воздух, птицы, солнце, но это все-таки было нечто иное, о чем можно только думать, но не говорить.

Сначала их встречи происходили в бане, а потом Степанида стала уводить его в дом, и Трифон умирал и воскресал от счастья уже на огромной белоснежной постели и ужинал за столом, покрытым скатертью, восседал он за ним в хрустящем белоснежном исподнем сгнувшего без вести в военное лихолетье мужа Степаниды.

Она, Степанида, наверное, померла бы со страху, если бы узнала, что иными ночами Трифон неслышно бродил вокруг ее дома, как чуткий и злобный зверь, который готов разорвать каждого, кто посягнет на ее такой спокойный в последнее время сон.

Они и разговаривать научились по-особому. Она его что-нибудь спрашивала, а он и не отвечал, только глядел на нее, и Степанида легко, не задумываясь, расшифровывала его ответ.

Степанида жила бездумно, как птица, гоня от себя мысли о завтрашнем дне. Ей, тридцатипятилетней женщине, всю свою куцую, темную, искореженную работой жизнь привыкшей жаться. по углам, не смевшей поднять взгляд на мужчину, вдруг стало все вокруг безразлично и нестрашно. Она жила сегодняшним днем, а завтрашний ей грезился таким же счастливым и простым.

Она не пыталась, да и не умела анализировать свои поступки, и только сопоставляя своего возлюбленного с другими мужчинами, усмехалась про себя:

— Пусть бы все они были дураками.

Даже ее муж, с которым она и намиловаться не успела, который ее любил и берег, и в мыслях не мог ее поставить рядом с собой. Она всегда была для него чем-то средним между домашней скотиной и кухаркой, и только в постели она становилась сама собой. Да и то — до известных пределов, зависящих от его настроения. Он ее ласкал и требовал ответной ласки, но случалось, когда она, взбудораженная этой лаской, вдруг тянулась к нему, он отталкивал ее руки и деловито, даже не подозревая, что обижает ее этим, говорил:

— Ну будя, будя, завтра рано вставать...

И тут же храпел, будто мгновенно включал в себе невидимый сонный агрегат.

А она и не обижалась, так как не представляла, что может быть иначе, что она сама способна диктовать кому-то свою волю и требовать понимания.

Да, Трифон был и ребенок и мужчина одновременно. Это мучило ее, но и разжигало в ней страсть, ибо он был естественен, как естественны в таких ситуациях звери и скотина, он не знал чувства стыда, но таким неимоверно, по-детски благодарным был за ее ласку, так чисто и бездумно смеялся, по-мужски уже уверенно — надо ли этому учиться! — ласкал ее тело — именно так ласкал, как ей нравилось, и его чистая беззастенчивость передавалась ей — и он делал все так, как она хотела, и она не стеснялась его учить, и он совсем не стеснялся учиться, и только тихо смеялся, довольный, когда видел, что ей нравится то, что он делает.

Она пыталась проникнуть и проникала в его мир, мир, в который не пускают заботы, преодолевая их бездумно, без раздражения, понимая, что никуда не деться. И это было откровением, и потому Степанида жила сегодняшним днем, не думая ни о чем, что могло бы спугнуть установившуюся в ее душе тишину.

Но разве можно что-то скрыть в деревне? В деревне, где чужой мужской погляд — и то доука, а слово с чужим мужчиной — под плети ложись.

Их трагедия была в том, что они уже не жили в этом мире. Но этот мир не собирался с ними расставаться. Он тянул свою руку, скорую на лютую расправу, к их птичьему гнезду на шаткой ветке — и пальцы вот-вот должны были сомкнуться.

Первый гром ударил предупреждающе, но громко. Кто-то неузнанный ночью, в степанидином огороде, подстерег и до полусмерти избил Трифона. Он приполз, окровавленный, на ее крыльцо и потерял сознание.

Она перетащила его в избу, отмыла от крови, обложила раны подорожником и казнила себя, недоумевая, как это ее сердце-вещун не предупредило ее о страшной беде. Она

догадывалась, чьих рук это дело, и отчаянье бессилия, беспомощности сотрясало плачем ее тело. Но надо было бежать на ферму, и она убежала, заперев дверь на амбарный замок. Вечером она еще от реки увидела, что рамы в доме выставлены, а у калитки наткнулась на бесчувственное окровавленное тело Трифона.

Он лежал в одной рубашке, лицом вверх, с открытым беззубым ртом. Его, видно, тащили за руки к калитке, и рубашка порвалась, половина ее зацепилась за подвернутую ногу Трифона, и казалось, что он снимает ногой трусы. Она втащила его в дом, тяжело перевалила на койку и замерла, ничего не думая и не испытывая никаких чувств.

Кончилась птичья бездумная жизнь. Ветка, на которой выстроила она гнездо, оказалась слишком тонкой.

Утром из дома Степаниды, где хрипел в беспамятстве дурачок Тришка, понаехавшие из района милиционеры вынесли зарубленного топором одного из братьев степанидиного мужа, потом ее саму, заколотую вилами, а последним в санитарный фургон внесли Трифона с забинтованной белой марлей головой.

Их везли в райцентр через все село: уже украшенное флагами и лозунгами в честь 35-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Письмо к Сталину было на месте, в столе. Трифон прижал тетрадку, к груди, и волна радости покатила по его телу, добежала до глаз и выплеснулась двумя худосочными ручейками слез. Будто прикоснулся он к доброй груди матери, и она вернула ему жизнь. Он подошел к кровати, сел на нее, не выпуская из рук тетради, замер, жадно вдыхая запах запустения, пыли и чего-то очень знакомого, чего — он не мог понять, но живущего в этих стенах с отвалившейся штукатуркой, в грязных ситцевых занавесках, в фотокарточке, на которой он был запечатлен в красном галстуке с металлическим зажимом, рядом с отцом, горделиво выпятившим грудь, и матерью, немного испуганно глядящей в объектив.

Его неровно выстриженная голова была густо изрезана сизыми шрамами и походила на ежа, почувствовавшего опасность.

Трифон не знал, сколько дней он не был дома, но, наверное, много, потому что окна забило снегом, а через выбитую форточку в кухне намело целые сугробы.

Надо было что-то делать, но он сидел и сидел, прислушиваясь к себе, к теплу, волнами идущему от тетрадки, и пытался понять, о чем толкует ему черный круг радио над самой головой

В этой тетрадке, как в кашеевой шкатулке, была его жизнь. Он знал, не задумываясь об этом, что ему нельзя умереть, пока не отправит он свое письмо товарищу Сталину, гвардии генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу. Может быть, если бы сделал он это раньше, не держали бы его так долго в больнице с решетками, где не только дядьки в белых халатах, но и женщины необыкновенно злы, с сильными цепкими руками и глазами, не знающими жалости. Уже бы давно в Щорсовке побывал бы товарищ Сталин, разобрался бы во всем, вернул отца, помог бы Карлуше и Нюрке, наказал бы Фиткулева и снял бы с него Звезду Героя, дал бы всем щорсовцам по мешку муки и картошки, а его, Трифона, пригласил бы к себе в гости, и он бы все-все рассказал товарищу Сталину — и о Степан и де, и о матери, и об отце, и о Карлуше, и об Антошке, и о бабке Марыське. И попросил бы, чтобы Сталин крепко поругал тех, кто ему вовремя не доложил об этих людях, чтоб он мог лично с ними разобраться и помочь.

Тогда бы и здесь стало так же хорошо, как и во всей стране, и вернулся бы отец, и дети бы никогда больше не кидали в них с Карпушей камнями и не отнимали бы у них еду, а Нюру бы с Антошкой и пальцем бы не посмел тронуть гвардии ефрейтор Фиткулев. И самое главное, люди бы разрешили Трифону ходить к Степаниде, и ее никогда не посмели бы убить братья мужа.

Трифон и сам больше бы ничего не просил для себя у товарища Сталина. Может быть, только уже под самый конец, когда провожал бы он Иосифа Виссарионовича на станции Щорсовка, попросил, чтобы Сталин приказал начальнику станции, чтобы тот выдал Трифону форму железнодорожника с фуражкой с двумя молоточками и разрешил бы держать желтый флажок, когда мимо идет поезд.

Хотелось есть, но Трифон не двигался. Он очень промерз на открытой площадке товарняка, которым добирался до Щорсовки от областного центра. Фуфайка, которую ему дали в больнице,



была хоть и теплой, но не спасала от ветра, а вот ботинки были и вовсе малы, и ноги мерзли всю дорогу и не отошли даже сейчас. Трифон разулся, залез под старое, свалывшееся ватное одеяло, и запоздало подумал, что зря он не оставил хотя бы корочки от буханки хлеба, выданного ему в области. Надо было бы и форточку заколотить, пошарить в погребе — может, что и завалилось там, но чувство дремотного покоя и внутреннего тепла от тетрадки в косую линейку было еще сильнее, и он лежа полудремал, слушая, о чем говорит черный круг на стене.

А черный круг говорил о невиданных рекордах шахтеров и рыбаков, о чудесной пшенице, выращенной академиком Лысенко, о победах наших спортсменов; в песнях звучали энтузиазм и вера, в стихах — бодрость и решимость.

Крепко доставалось кровавому иуде-Тито, продавшемуся капиталистам за английские фунты, про де Голля пели сатирические песенки, очень смешные. Трифон даже улыбнулся краешком губ, когда услышал:

Папа Римский де Голлю опять

Обещает поддержку горячую:

— Первым фюрером Франции стать  
Вам самую судьбой предназначено

Но, де Голль, весь французский народ

Будет ребра тебе пересчитывать.

Папа Римский тебя не спасет,

А на маму пока не рассчитывай.

Пионеры собирали металлолом. Летчики били рекорды высоты, спускались на воду пассажирские и грузовые суда, композиторы сочиняли симфонии, безрукая туркменская крестьянка пальцами ног соткала прекрасный ковер с изображением товарища Сталина. Вышинский в ООН посадил в лужу всех капиталистических дипломатов. В Заполярье строились не только крупнейшие в мире комбинаты по добыче и переработке полезных ископаемых, но и новые города.

Здравствуй, страна героев.

Страна мечтателей, страна ученых!..

В буднях великих строек страна шла к коммунизму, под знаменем Ленина, под водительством Сталина.

Теплые слезы приятно щекотали щеки, бодрый голос диктора убаюкивал, и Трифон наконец заснул в собственном доме, и приснилась ему Степанида в белой, длинной, до пола рубашке, и шла она по зеленому облаку и несла на коромыслах воду в белых цинковых ведрах, и глаза ее были закрыты, а лик темен.

А вечером пришел Антошка, в старой материнской фуфайке, пошмыгал мокрым носом у порога, вытянул из-под фуфайки грязную тонкую руку, высморкался на пол и равнодушно сообщил:

— А мамка померла. А коза подохла. А Шарика кто-то вбил. А тятюку забрали в райцентр директором клуба. А бабка болеет печенкой.

Потом его рука снова скрылась в недрах фуфайки и появилась оттуда с добрым куском кукурузного хлеба. Антошка зачем-то его понюхал и протянул Трифону:

— На тебе, съешь, а то кто тебе теперь ишшо подаст?..

И сел на лавку и мгновенно стал похож на махонькую старушку-нищенку со станции Щорсовка.

А потом Антошка плакал. Плакал долго и обильно, шмыгая носом, размазывая рукой по лицу сопли и грязь, а Трифон жевал сухой колючий кукурузный хлеб и молчал, не зная, что сказать этому комочку из тряпок и слез.

— Жалко мамку, — проскулил, наконец, Антошка и замолк, и они молча сидели в сгущающейся темноте, слушая, как сытый уверенный голос в репродукторе уговаривал их:

Хороша-а страна Болгарии,

А Россия лучше всех...

Письмо Сталину было наконец полностью готово. Конечно, оно было не таким аккуратным, как у отца, более громоздким, с не очень аккуратно заклеенным конвертом из оберточной бумаги, которую он выпросил в буфете на станции, зато адрес был выведен четко, жирно, трижды обведена чернильным карандашом каждая буква.

Марки Трифон не наклеивал, полагая, что они просто неуместны, они как бы даже обидны, как бы уравнивают адресата с кем ни попадя. Он очень долго размечал конверт на бумаге, считая линейкой до миллиметра, потом резал ножницами, поминутно перемеряя, затем складывал по частям — и все получалось на славу.

Тетрадка легко входила в склеенный жидким тестом конверт, и Трифон целый день вкладывал ее, любовался и снова вынимал. Что-то мешало ему окончательно заклеить конверт, и он не пытался понять, что именно, просто инстинктивно боялся расстаться с тетрадкой, которую он писал несколько лет, о которой никогда не забывал, и в которой была заключена вся его жизнь, ее правда и неправда, обиды и несправедливости, надежда и уверенность, что все изменится. Эта тетрадка стала для него больше, чем просто письмо о наболевшем, это было даже больше, чем молитва, обращенная к высшим силам на земле. Это письмо можно было назвать его жизнью, его разумом, его сердцем. И все бы это соответствовало истине. Ибо это как раз и было для него всем вместе, а в конечном итоге — его жизнью. Ибо он только этим и жил, и забирай у него саму эту надежду — написать его и отправить адресату — и это значило бы просто отнять у него жизнь.

Только благодаря этому письму он выдерживал все страшные удары действительности, обрушивающиеся на него раз за разом, ибо знал, что письмо — его защита от любой беды, гарантия будущей его жизни, справедливости, счастья, как он его сам понимал. Он еще несколько дней не расставался с ним, не решаясь вручить свою судьбу, свою жизнь холодному железному почтовому ящику, который хладнокровно проглотил за эти годы столько судеб, надежд и жизней.

Но наконец он решился. Вот и заклеена последняя щелочка, соединяющая со всей его прежней жизнью, да и с будущей тоже.

Он подошел к фотографии отца на стене, смахнул с нее пыль и долго смотрел в уверенные дерзкие глаза человека, которого все в Щорсовке называли по-старому — комиссар.

— Вот оно... Несу, видишь? Письмо... — Трифон испуганно оглянулся, сам отвыкнув от своего голоса. Он все еще медлил, как медлил все эти долгие дни, сам не понимая, почему так неуверенно тыкается в сердце чувство радости.

Он не понимал, почему ему так трудно расставаться с письмом, почему он медлит, обрекая близких ему людей на тяжкое ожидание его помощи, он знал, как нужна этим людям его помощь, но все-таки не мог расстаться с письмом, не отдавая себе отчета, не признаваясь себе, гоня от себя в самые глухие подвалы собственного разума совсем не вызревшую мысль, и не мысль даже, а инстинкт, что письмо это было единственной ниточкой, связывающей его с жизнью. Только оно давало ему силы и надежду. И расставаясь с ним, он просто-напросто терял смысл своего существования.

С письмом в его руках было нечто реальное, вселяющее веру и надежду, а без письма оставалось что-то зыбкое, хоть и привычное — ожидание.

И он вышел на улицу, неся в старом географическом атласе, чтобы не помять, самое главное, что было у него в жизни, самую свою жизнь.

Он еще не дошел и до школы, когда в сердце ему тупо ударило тяжелое предчувствие какой-то страшной, ставящей последнюю точку на его жизни беды. Он еще не понял, в чем дело, и теснее прижал к груди похрустывающий груз, но ступни его начали вдруг подворачиваться, цепляя землю, и куда-то пропали силы.

Как будто бы со стороны он увидел растрепанных, заплаканных женщин, бегущих к станции, ибо станция для щорсовцев всегда была и клубом, и газетой, и трибуной. Он не успел заметить. Трифон, когда побежал вместе с ними, безвольно переставляя ноги, бежал, не зная, зачем и почему, но твердо уверенный, что назад ему пути нет.

Инстинкт вечно гонимого, обижаемого и оскорбляемого животного требовал остановиться, вернуться, забиться в свою конуру и сидеть там тихо, пока не сгинет это

страшное, что витало в воздухе. Но инстинкт человека, в котором и человеческого-то осталось— только надежда, тащил его дальше.

"На площади у станции толпа уплотнилась, но бурлила молча и оттого становилась еще страшнее. Трифон всегда боялся людей, а сегодня тысячекратно больше чувствовал в них носителей чего-то обреченно рокового, но нечто сильнее этого страха тянуло его к ним, и он, прикрывая от локтей и чьих-то кулаков свое сокровище, ввинтился в молчаливую толпу, вздрагивающую, как от электрического тока, от отчаянного женского вскрика:

— Боже, что делать-то будем?!

А беда оказалась страшнее всех бед, которые он смог бы выдумать. Беда была настолько необозримой, настолько всеобъемлющей, проникающей и необратимой, что разом вытеснила все мысли, кроме одной, которая набухла там. разламывая горем:

— Сталин умер!..

Это было настолько неожиданно, настолько дико и необъяснимо, что не укладывалось ни в какие рамки. Как так — Сталин умер? Как вообще он смог умереть? Как может умереть воздух, ветер, небо, то есть все, что вечно, что всегда с нами, от рождения и до смерти? Почему же тогда гудит паровоз, летит птица, стучит сердце?

**И КОМУ ТОГДА ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО?!!**

Не было сил думать об этом. Беда была так громадна, что ее нельзя было даже понять. Это и не беда была. Это была смерть. Смерть для самолета, летящего в небе, для этих тетек и дядек, как в немом кино, беззвучно раскрывающих рты, и, конечно же, — для Трифона, даже не заметившего, как сжали, скомкали письмо его руки, совсем не подчиняющиеся его разуму.

Толпа вынесла его к перрону. Здесь было чуть-чуть посвободнее, и первое, что он увидел, как двое мужчин в белых халатах грузят в подводу надвое разрезанное поездом тело дурачка Карлуши. Еще две минуты. — а может, и два часа назад, кто теперь точно скажет? — Трифон видел, как Карлуша продирался сквозь толпу, всклокоченный, со свалывшейся седой бородой, с дикими, налитыми слезами глазами с портретом Сталина в руках, и сиплым, севшим от крика голосом шипел:

— Эс лебе геноссе Сталин!

И его никто не бил и не гнал и вообще не обращал на него внимания. И вот его уже нет, Карлуши, окончилась его полная непонятного людям смысла жизнь с именем любимого вождя на устах.

А горе катилось по булыжному перрону, поднимая чьи-то руки над толпой, вздымая чей-то смертный крик над головами, раздирая мукой рты и наливая смертной истомой глаза. Трифона сдвинули к железному столбу, на котором, сколько он помнил себя, висели огромные, железные, с белым циферблатом часы,

И Трифон вдруг с ужасом увидел, что часы шли. Они шли, проклятые, хотя вокруг остановилась жизнь. Они волокли, сволочи, свои откормленные людской кровью стрелки, будто хотели нагло заявить, что ничего не произошло, что жизнь продолжается.

И Трифон вдруг озаренно понял, кто виноват во всем. Они, они, эти проклятые часы. Они равнодушно и нагло перескакивали с одной минутной отметки на следующую, когда увозили его отца, когда несли на кладбище мать, когда укладывали на подводу пронзенную вилами Степаниду, они не остановились ни на мгновение даже тогда, когда летел под паровоз, раскинув руки в смертельном парении, дурачок Карлуша, они двигались даже сейчас, когда умерло все вокруг и некому стало отправить письмо...

Трифон выхватил из кучи булыжников, приготовленных для ремонта платформы, один поувесистее и запустил в часы. Стекло разлетелось со страшным звоном. Булыжник угодил прямо в циферблат, и стрелки выгнулись, будто выставили из норы клешни, чтобы схватить Трифона и затащить туда, 80 внутрь своего отсчитанного времени, где лежало на камнях тело матери и корчило от ударов сапогами безответно тело Нюрки Зарычав, как зверь, Трифон схватил новый булыжник, за ним третий, четвертый... И швырял в ненавистные часы с нечеловеческой силой, попадая и промахиваясь, не замечая, что булыжники летят в толпу и кого-то калечат. Часы оборонялись — и наносили урон.

Кто-то в черной железнодорожной шинели сбил Трифона с ног, и толпа с ревом навалилась на дурачка и, озверев,, топтала его ногами, и он, еще живой, даже не пытался уклониться, только закрывал руками на груди, даже не зная, зачем, старый школьный атлас с неотправленным письмом товарищу Сталину.